ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 51 ДЕКАБРЬ 1989

ПРОЩАЙ ЦЕНЗУРА?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 51 (3256)

16—23 ДЕКАБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Плакат Станислава АРТЕМОВА.

Оформление Е. М. КОЗАКОВА
при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 27.11.89. Подписано к печати 12.12.89. А 10628. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 300 000 экз. Заказ № 1556. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

ВТОРОЙ СЪЕЗД. ЖДЕМ РЕШЕНИЙ!

Фото Алексея ГОСТЕВА

ГОРЯЧИЙ ХОЛОДНЫЙ ДЕКАБРЬ

За радикальную политическую и экономическую реформы, за консолидацию демократических сил, за власть Советов!

Владимир ГЛОТОВ

Ленинград. 6 декабря

События, предшествовавшие второму Съезду народных депутатов СССР, влились в организм высшего собрания народной власти, как кислород в легкие. Для меня они связаны прежде всего с Ленинградом, но вбирают в себя и тупик Карабаха, и решительность Воркуты, и стремительный бег демократической Европы. Я видел и слышал, как тридцать или сорок тысяч глоток выбрасывают с паром под светом прожекторов истошный вопль: «В от-став-ку! В от-став-ку!» И кому? Своему, как выразился один народный депутат, «удельному партийному князю», еще не успевшему поработать по-настоящему, ни возвести собственного «замка», ни разрушить прежний. Это знак нетерпения, жажда собственного действия и самоорганизации.

Отчет о митинге подробно и объективно был передан по каналу ленинградского телевидения, который принимается и в столице. Москва и Ленинград — не вся страна, поэтому вспомним некоторые из выступлений, особенно в связи с тем, что именно писала о митинге ленинградская пресса и что сообщил комментатор телепрограммы «Время».

Главная ленинградская партийная газета «Ленинградская правда», отретушировав лозунги на фотографии, так что на одном плакате остался виден лишь крестик (там, на площади, он зачеркивал 6-ю статью Конституции, на фотографии тщательно вымаранную), попыталась в своем отчете представить демократические силы, их акцию этаким продолжением митинга 22 ноября, того самого митинга, организованного аппаратом, о «кухне» которого мы рассказали в прошлом номере «Огонька».

Увы, стало́ банальным для иных партийных журналистов произвольно цитировать ораторов, из выступавших на митинге народных депутатов СССР упомянуть лишь депутата Б. В. Гидаспова, а из резолюции митинга выбросить самые существенные вещи (что, видимо, позволило с удовлетворением назвать ее «документом... очищенным от излишних эмоций») — все это действительно стало привычно, как и способность направлять объектив фотокамеры в гущу лозунгов, странным образом и при странных обстоятельствах сгруппированных (при этом жизнь не лишена юмора — фамилия фотокорреспондента партгазеты подходящая: Потемкин!).

И если к этому добавить невинную шалость нашей главной — на всю страну — программы новостей, когда было сказано, что вот, мол, задуманный как «митинг протеста», митинг стал мероприятием «за перестройку», то есть в сознание непредвзятого телезрителя был вбит гвоздь: это кто же еще протестует накануне Съезда «против перестройки»,— если все это соразмерить, то делается грустно и вполне осознаешь, какая же машина закручена, чтобы ошельмовать демократию, и рука невольно тянется к перу.

Митинг в морозный день 6 декабря на площади перед спортивно-концертным комплексом в Ленинграде протестовал не против перестройки, а против аппаратных игр, родивших мышь, против митинга на этой же широкой площади, изображавшего единодушие ленинградских коммунистов в призыве «Политбюро к ответу». В листовках, распространенных 6 декабря, первые строки были о главном: «Ответственность за половинчатость реформ, за экономический кризис в стране несут не инициаторы перестройки, а те, кто вставляет ей палки в колеса — партийно-государственная бюрократия и торгово-промышленная мафия».

Напомню выдержки из выступлений — и коммунистов, и беспартийных, их было более двадцати,— ибо тем, кто не видел и не слышал, как это было, не худо вчитаться и вдуматься: действительно ли «незначительно отличаются наши политические взгляды», как утверждает «Ленинградская правда» в своих поспешных попытках приобщить к аппаратной «платформе» любую, даже самую радикальную мысль, и не оттого ли такая жажда «единства», что для аппаратчика не время спорить с народом, непопулярно отвергать лозунги масс, а лучше принять в объятия их вожаков, чтобы задушить их от избытка чувств.

Итак, многоголосие на одну тему.

Игорь СИДОРОВ, журналист: — В этом году немало функционеров предлагали проверить цвета партийных билетов ленинградских журналистов... Так вот! Тем, кто хочет проверить цвет моего партийного билета, я говорю: он красный. Но не только потому, что на нем кровь борцов за революцию — на нем кровь десятков миллионов людей, загубленных сталинским ГУЛАГом.

Сергей ПОДОБЕД, рабочий: — Я не защищаю ЦК, у него много ошибок, но у меня сложилось впечатление, что происходит попытка перевалить ответственность на вышестоящих. И я считаю, что мы прежде всего должны у себя собрать партконференцию на альтернативной основе.

Валерий СЕРГЕЕВ, капитан 2 ранга: — «С кем армия?» — постоянно задают нам сегодня вопрос... В Вооруженных Силах сейчас идет перестройка, но медленно. И основным тормозом являются те политорганы, которые были созданы Сталиным и раздуты до необъятных размеров Леонидом Ильичом Брежневым.

Юрий ЛУЧИНСКИЙ, юрист: — Действия части партийного аппарата последнее время стали напоминать детскую игру, в которой начинаются выяснения: «Чур я командир!» «Нет! Чур я командир!» Идет командование перестройкой, всеми нами. В этой борьбе за командирство применяются любые средства — от игры на недовольстве народа и натравливания коммунистов на Центральный Комитет до поднятия на щит высосанной из пальца проблемы, некоего жупела: частной собственности, кооперации и иных якобы «рецидивов капитализма»... Мы будем ругать Горбачева, но сейчас нельзя допустить его свержения... Ленинградские коммунисты не могут все поголовно встать под знамена прошлого митинга, на котором нас призывали, прикрываясь хорошей платформой ленинградских коммунистов, к дестабилизации и разобщению... Как известно, такая борьба за командирство приводит к мордобою, и мы, ленинградцы, не можем позволить втянуть себя в такую игру. Наша победа — на демократических выборах!

Юрий САМСОНОВ, инвалид, блокадник, беспартийный: — ...Народ пробуждается от долгой летаргической спячки, погруженный в нее психотерапевтами, до которых Кашпировскому далеко. Народ хочет сбросить иго монопольного правления. Для этой же цели объединяются и прогрессивные силы Ленинграда.

Юрий БОЛДЫРЕВ, народный депутат СССР: — ...Что касается Генерального секретаря, я сам неоднократно выступал с критикой Горбачева, в том числе в печати, но когда я увидел прошлый митинг, я сказал: это та ситуация, где нам Горбачева придется защищать. И защищать мы будем не только Горбачева, а прежде всего себя, реформы, будущее нашего общества... Я хочу

Фото Сергея ПЕТРУХИНА



вас оградить только от одного: сегодня те же люди, которые, мягко говоря, журили нас за то, что мы требуем отмены 6-й статьи Конституции, те люди, которые сделали все, чтобы прошлые выборы не были собраниями по месту жительства по выдвижению кандидатов, сегодня многие из этих людей будут готовы поднять любой лозунг, лишь бы получить депутатский мандат... Будьте бдительны и ответственны!

...Интересную тактику применяет нынче аппарат. Главный ленинградский партийный идеолог пишет и публикует статью, от которой вздрагивает весь мыслящий город, а он скромно подписывает ее — «кандидат юридических наук», можно сказать, рядовое мнение. И в теледебатах с народным депутатом СССР Анатолием Собчаком, ведя их уже все-таки как секретарь обкома,— улыбается, спорит о терминах и полон восторга от соприкосновения точек зрения, общности взглядов, как тот боксер, который, не в силах ни выиграть, ни вести бой, липнет к противнику и виснет на нем. Да мы, мол, ваши, да мы, мол, вместе, поэтому позвольте нам вами поруководить... Даже лозунги, в лоб выставленные, глаза не колют: «Собчак с народом, а с кем Гидаспов?», «Даешь перестройку в партии!» — им хоть бы что, их можно не замечать, ведь есть другие — я упоминал о тесной группе как раз против трибуны — для глаз начальства и телекамер.

Знакомые транспаранты: «Нет частной собственности!», «Фронтовики! Кончайте войну, страна хочет мира!» — это призыв к Ленинградскому народному фронту и Объединенному фронту трудящихся. Опять тот же мотив: давайте жить мирно. Вы живите мирно, а мы за вас (и с вами) разберемся.

ИНТЕРВЬЮ НА ТРИБУНЕ, за несколько минут до митинга. Его дает журналу «Огонек» первый секретарь Ленинградского обкома и горкома КПСС Б. В. Гидаспов.

— Борис Вениаминович, какие надежды на этот митинг?

Борис ГИДАСПОВ: — Очень большие. Это в определенном смысле этап — в том, что лидеры и активисты неформальных движений, коммунисты, беспартийные встают для того, чтобы поискать пути взаимодействия... Это символично!.. Я для того, и приехал, чтобы люди видели, что я заинтересован вот в таких неформальных контактах.

— А чего опасаетесь, Борис Вениаминович?

Борис ГИДАСПОВ: — Я вообще-то ничего не опасаюсь... Единственное — неконструктивных разговоров.

Первый секретарь приветлив. Его окружают люди, он улыбается, отвечает на вопросы, кладет в карманы передаваемые конверты от просителей, справа и слева от него вместе с ним неотступно следуют двое молодцов в просторных серых плащах, несмотря на холод... Остается несколько минут до митинга, Гидаспов весело кричит ведущему: «Меня запишите!» — будет выступать.

И вот минута, когда Борис Вениаминович Гидаспов у микрофона... Перед ним лозунги и среди них: «Борис + Нина = любовь». Гидаспов еще секунду улыбается. Это его попытка взаимодействия, реализации надежд. Выражаясь космическим термином: контакт!

Борис ГИДАСПОВ: — Дорогие ленинградцы!.. (Сплошной гул.) Дорогие друзья!!! (Гул становится нестерпимым, я рядом с динамиком и почти ничего не слышу.) Впервые на одной улице стоят плечом к плечу все прогрессивные силы Ленинграда. И это знамение времени. (Гул продолжается, пока ведущий митинг Петр Филиппов не делает несколько энергичных взмахов рукой: «Прекратить!») Я очень рад, что мы здесь все вместе, несмотря на то, что мы все разные. (Прямо перед трибуной поднимают огромный транспарант: «Борис, ты не прав!») А я думаю,— продолжает оратор,— что я прав! (Крик, сплошной гул!) Дорогие ленинградцы, я желаю вам... (Шум, крики: «В отставку! В отставку!» — так продолжается несколько минут.)

ИНТЕРВЬЮ НА ТРИБУНЕ после выступления.

— Борис Вениаминович, как вы отнеслись к скандированию: «В отставку, в отставку!»?

Борис ГИДАСПОВ: — Ну что же, в отставку так в отставку...

— Но все-таки — столько народу!

— А что — «столько народу»? Меня выбирали 600 тысяч коммунистов! Когда они мне скажут: «В отставку!»,— я уйду... Меня выбирали в бюро областного комитета партии... Когда создалось безвластие, мне сказали: «Иди и руководи!» Я бросил прекрасную работу, высокооплачиваемую, чтобы навести в Ленинграде порядок... удержать город от анархии...

— Что вы имеете в виду под анархией?

— Ну, мало ли что?.. Рост преступности, появление различных мафиозных формирований, подпольных миллионеров, проституции. Рост общественных беспорядков.

...Стоит задуматься над ситуацией, в которой митинг практически единогласно проголосовал за отмену 6-й статьи Конституции. Почему?

Ведь десятки автобусов свозили людей с предприятий по разнарядке с лозунгами и транспарантами (с того, прошлого митинга), от работы людей освободили, хорошо парткомы поработали, обеспечили: ведь пяти еще не было, а к трибуне не подойдешь, обступили полукольцом, и лозунги, какие надо, кучно, кучно... Сломались же на голосовании шестой. Лишь несколько героев взметнули руки против ее отмены на глазах у десятков тысяч. Сила солому ломит. Стоит хорошенько подумать, почему не получилось единства.

А я скажу — это как посмотреть, с какой «кочки» зрения. С бюрократическим аппаратом единства в городе на Неве, как я почувствовал, действительно мало кто жаждет. И даже дэзсовцы, которых организаторы митинга — Ленинградский народный фронт — опасались больше всего, ведя вокруг взаимоотношений с ними бесконечные дискуссии, проявили сдержанность и, кроме нападок на КГБ и защиты журналиста Сергея Кузнецова, по их сведениям, находящегося в тюрьме по политическим мотивам, не выходили за рамки темы митинга. И русские националисты не рвались к трибуне, лишь молчаливо размахивали парой имперских трехцветных флагов.

Вспомним: 7 ноября в Ленинграде неформалы, как известно, шли на демонстрации не только в общих колоннах, но еще и своей собственной. Среди сотен лозунгов, поднятых над колонной, был один и такой: «Ударим перестройкой по коммунизму!» И именно этот лозунг был избран для удара и дискредитации демократического движения со стороны аппарата — и на объединенном пленуме обкома и горкома КПСС, и в интервью Гидаспова в «Правде». Повторяю, из сотен лозунгов — один! Тем более что когда колонна ЛНФ вступила на Дворцовую площадь, была прекращена трансляция телевидения — и какие там были лозунги, никто, кроме тех, кто был в колонне, да тех, кто сам видел ее на улицах, толком не знал, тем более за пределами Ленинграда, и потому историческая память была как бы стерта, сведена до частного восприятия. Умышленно? Вот и я спрашивал об этом организаторов митинга 6 декабря. Они пожимали плечами: «Трудно сказать, но избирательность в оценке нашей позиции совершенно недобросовестна» — и показывали списки номеров автобусов, которые привозили на площадь «группы поддержки» аппарата (зря промерзли ребята).

«Горячий декабрь», который предрекал в одном из своих интервью Б. В. Гидаспов, все же охладил разгоряченное воображение аппаратных карбонариев. Ленинградцы выстояли.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

Мы, коммунисты и беспартийные участники ленинградского общегородского митинга 6.12.89 г., заявляем о своей поддержке курса радикальных политических и экономических реформ. Мы разделяем стремление Горбачева, Яковлева и их сторонников в руководстве партии придать нашему обществу гуманный облик, вернуть страну в русло общечеловеческой цивилизации.

Считая справедливой критику в адрес ЦК КПСС за медлительность и непоследовательность в проведении реформ, считаем, что не меньшую ответственность за катастрофическое положение дел в Ленинграде несут Ленинградские обком и горком КПСС. Сегодня каждая партийная и общественная организация должна сама стать инициатором демократических перемен, не ожидая указаний сверху.

Нас тревожат попытки искусственно столкнуть одни слои населения с другими. Линия раздела сейчас проходит не между теми, кого причисляют к сторонникам или противникам социализма, не между интеллигенцией и рабочими, не между представителями разных национальностей, а между приверженцами административно-командной системы, с одной стороны, и сторонниками демократии, полновластия Советов, рыночной экономики — с другой.

Одно из важнейших достижений последних лет — проявление в обществе плюрализма. Выражаем поддержку работникам средств массовой информации, занимающим гражданскую позицию, активно содействующим раскрепощению общественного сознания, массовому включению ленинградцев в движение поддержки перестройки снизу.

Считаем, что даже то прогрессивное, что появилось в платформе ленинградской партийной организации в результате настойчивых требований рядовых коммунистов, не может быть претворено в жизнь нынешним составом ОК и ГК КПСС. В этой ситуации нелепо выглядят любые попытки говорить от имени всех коммунистов ленинградской парторганизации без созыва областной конференции.

Мы считаем, что только областная конференция ленинградской парторганизации при условии прямых альтернативных выборов делегатов, а не пленумы обкома и горкома КПСС может решить следующие назревшие вопросы:

1. Обсудить политическую ситуацию в ленинградской партийной организации.

2. Рассмотреть проекты новых Программы и Устава КПСС.

3. Избрать новый, пользующийся доверием рядовых коммунистов состав ОК и ГК КПСС.

Мы обращаемся к партийным комитетам парторганизаций, поставивших вопрос о проведении внеочередной партконференции, немедленно взять на себя координацию всех мероприятий по ее созыву.

Эдмунд ИОДКОВСКИЙ
Москва. 10 декабря.

На 20-градусном морозе у спорткомплекса «Олимпийский» в воскресенье 10 декабря собралась пятитысячная толпа. Ее отличало невероятное разнообразие лозунгов и транспарантов. Мы празднуем День прав человека — «Праздник без кавычек», как назвала его «Правда». Его лейтмотив «От крепостного права — к правовому государству» выписан огромными синими буквами на белом фоне. Любопытны и другие лозунги (вся страна видела их в воскресной телепередаче «7 дней», в репортаже о демонстрации и митинге): «Нас не объегорить!», «Защитим перестройку от Гидаспова», «Нет — репрессивной психиатрии!», «От империи — к союзу свободных народов», «Превратим выборы в крах тоталитарной системы!». Поднял свой плакатик, исполненный сапожной ваксой на картоне, и ведущий научный сотрудник МГУ, доктор философских наук Арсений Чанышев: «Антитоталитарии всех стран, соединяйтесь!»

Маленькая группка людей пристраивается в хвост пятитысячного шествия. Они несут иные лозунги: «Сионистский демократизм — оружие империализма», «Долой продажных лидеров межрегиональной группы!»

Естественно, перекрыто движение в сторону ВДНХ по проспекту Мира. Сопровождает демонстрантов эскорт ГАИ. Если милиция заставляет убыстрять шаг на морозе, то организаторы демонстрации с мегафонами призывают не торопиться: расстояние до ВДНХ мы должны пройти ровно за два часа. Вот я и спрашиваю у шагающего рядом милиционера: а каковы его взгляды на права человека? Охрипший на морозе служитель порядка бурчит: «Мы за демократию... но средняя зарплата у нас по Москве — 215 рублей».

Рой телеоператоров устремляет камеры на трибуну, когда митинг открывает 80-летний Лев Разгон:

— Мы защищаем права живых, но не забудем и о правах мертвых! Права мертвых — это права миллионов жертв тоталитаризма на посмертную честь и достоинство...

Мне же вспоминается, что у философии прав человека есть не только горячие сторонники, но и хладнокровные противники. Еще недавно, в апреле этого года, нынешний редактор «Нашего современника» С. Куняев напечатал в вологодской газете интервью, где так ответил на вопрос, в чем суть писательской межгрупповой борьбы:

«— Это не межгрупповая борьба — а борьба мировоззрений. С одной стороны писатели, исповедующие национально-государственные идеи... К таким писателям я, к примеру, причисляю Ю. Бондарева, В. Пикуля, В. Распутина, В. Белова, П. Проскурина, М. Алексеева, поэта Ю. Кузнецова... критиков В. Кожинова, М. Лобанова, А. Ланщикова и многих других. Другие же писатели, типа В. Коротича, А. Адамовича, Е. Евтушенко, М. Шатрова, Г. Бакланова, считают, что превыше национальных и народных интересов могут стоять права личности или права человека, что они — главное в современном мире... Это очень серьезное и принципиальное противостояние, а не какая-то групповая борьба. Как разрешится это противостояние, покажет время».

Жизнь уже показала, что все талантливое в народе и его литературе исповедует не идеи «национал-государственников», а философию прав человека.

...К свободе слова и печати, а не просто гласности призывали на митинге многие ораторы. «Стар-ков! Старков!» — скандирует митинг, услыхав из уст священника Глеба Якунина о решении редактора «Аргументов и фактов» В. Старкова баллотироваться в народные депутаты СССР на освободившееся место. А из нынешних депутатов, приехавших на второй Съезд, особенно темпераментно выступили на морозном митинге Юлия Соколова, Сергей Белозерцев (Петрозаводск), Владимир Зубков (Ростов), Николай Куценко (Полтава). Редактор Владимир Пучков из ногинской газеты рассказал о гонениях на него после опубликования статьи Юрия Афанасьева. Митинг подхватывает чей-то клич: «Афанасьева — в президенты России!» Ох, эти митинговые страсти... Но, как известно из школьного курса физики, всякое действие рождает противодействие, всякое гонение способствует славе политика. Так было с Ельциным. Справа же кто-то вздымает лозунг: «Горбачева в обиду не дадим!» Мне по душе этот лозунг!

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Если и были среди нас в апреле, когда мы шли голосовать, трезвопрозорливые, не питавшие никаких иллюзий, то в подавляющем большинстве мы все же верили и надеялись. Потому, во-первых, что голым расчетом существовать не приучены. А во-вторых, очень уж скверно живем, и хочется лучше, вот и теплилась надежда, что выберем,— и хлынут потоком счастливые перемены. Не записных выбирали — наших, народных, иначе чего было и затевать. Выбрали. А счастья не прибавилось. Они стали заседать и заседать, а мы — слушать и ждать. Они все спорят и спорят, а мы слушаем, всей душой болея «за своих». Может, потому и идет работа парламента так трудно, с пробуксовками, что несовместимы мнения, пристрастия, цели, интересы депутатов, за которыми стоят различные группы и течения? Выходит, и надеяться не на что? Вот и собеседники мои, оператор Нижнетагильского металлургического комбината Вениамин Ярин и директор Бутовского комбината строительных материалов Москвы Михаил Бочаров, им не откажешь ни в целеустремленности, ни в активности или принципиальности, но при обсуждении практически всех вопросов на заседаниях Верховного Совета они оказывались на противоположных полюсах спора.

М. Бочаров. Нам всем еще предстоит понять, что наш Верховный Совет СССР — это Верховный Совет новой формации. Он и сам, если хотите, еще не до конца осознал и прочувствовал, что он — верховная власть.

В. Ярин. Многие пока уяснили только то, что депутат обязан выполнить все, что ему давали в наказы. Это висит над нами дамокловым мечом. А депутат не должен быть зависимым. И не должен выставаить к начальнику... Меня попробовали раз продержать в прокуратуре у кабинета. И я через пять минут предупредил, кто я, и что более ждать я не намерен. Депутат должен любую дверь спокойно открыть и решить вопрос.

М. Бочаров. Ни ЦК, ни Совмин, ни прокуратура еще не осознали, что сегодня выше власти в стране нет, что мы, депутаты, имеем на что-то право, обязаны кого-то проконтролировать, спросить. С себя в первую очередь. С себя — за то, что наша работа крайне непродуктивна. Если честно, я не представляю, как отчитываться на Съезде и кого, кроме себя, винить в том, что не приняты долгожданные законы, что экономическая реформа не продвинулась ни на шаг. Те законы, что принял Верховный Совет, первоочередными я не считаю. И даже «Об аренде» — это лишь половинчатое решение. Положение в стране усугубляется. И в то же время увеличивается заработная плата аппарату. И среди прочих повышает ставки своим чиновникам профсоюз. Профсоюз, который призван заботиться о людях! Я отказываюсь это понимать... Назначенное новое правительство, на мой взгляд, тоже пока не оправдывает доверия народа и депутатов. Никаких конкретных шагов со времени первого Съезда не предпринято. А 15 месяцев, отпущенные на выправление дел, я уверен, затянут нас в такую яму, что мы, вхолостую продебатировав и следующий год, откатимся значительно назад.

В. Ярин. По-моему, мы совершаем ошибку: какой-то министр уже должен был стоять перед нами на трибуне и держать отчет. И я за то, чтобы теория Леонида Ивановича Абалкина начала бы реализовываться. Хотя я ее и критикую. За что? Я пережил за свою трудовую биографию несколько экономических перестроек. И ни одна в итоге не принесла мне, рабочему, ничего хорошего. И я не верю сегодня, потому что не слышал от Леонида Ивановича, каков будет результат через три года. Рабочий человек, если что-то затевает, ставит перед собой три вопроса: чего он хочет, как этого достичь и что это ему даст. Так я всегда жил, и на эти же вопросы жду ответа теперь. Однако прогнозов мы не слышим, вместо этого опять: давайте попробуем. Но сколько же, товарищи, пробовать!

М. Бочаров. Если хотите, я считаю, члены Верховного Совета обязаны были восстать: почему же мы не принимаем важнейших законов: о предприятии, о собственности, о земле, о налогах?

В. Ярин. Откуда-то вывалилась на нас масса срочных вопросов, и не вполне понятно каждый раз: нужный — ненужный? Начали обсуждать, какие праздники праздновать — об этом ли надо сегодня говорить? И народ, видя вот такие повестки дня, задает вопрос: что же вы делаете, чем там занимаетесь?

М. Бочаров. Вне повестки три дня потеряли на бессмысленные дебаты по кооперации, хотя она пока не имеет сколько-нибудь существенного удельного веса в экономике страны.

В. Ярин. Но уж если затронули кооперацию, то молчать было нельзя. Поймите, дорогие москвичи, вы смотрите на жизнь и судите о ней по витринам столичных магазинов и буфетов. Мы же на Урале зажаты договорными ценами, кооперативным привозом. Когда видишь, что в магазине детское питание по спекулятивной цене, и знаешь, что в городе тысячи больных и в их числе дети, и тебя со всех сторон спрашивают, когда же это кончится,— ну как молчать?.. Я знаю, после моего выступления на сессии меня начали воспринимать, как активного противника кооперативного движения. Обидно бывает, когда тебя неправильно поняли: я выступал не против кооперативов, а против спекуляции.

М. Бочаров. Вениамин, напрасно ты так: «дорогие москвичи...» Москва от перекупщиков тоже плачет. Но если бы пошла экономическая реформа, кооперативное движение уже к концу следующего года могло бы дать предположительно около 30—35 процентов всего объема рынка. Это позволило бы закупить сырье, поломать систему, при которой кооператор достает его неизвестно где втридорога, а потом выворачивает карманы у нас... Но, с другой стороны, вопрос: а где же Советы, где партийные органы, где ОБХСС, какова их роль в «кооперативном деле»? У меня возникает подозрение, что и в Москве, и в Нижнем Тагиле с Советами непорядок. Прошу прощения, но иначе как понять? Если кооператор спекулирует, как ни обосновывай он свои действия, у Совета вполне хватит власти не дать ему хода, привлечь к ответственности. Поэтому, когда сегодня о Советах говорят в связи с предстоящими выборами, то мое мнение, даже если иметь в виду частный вопрос о кооператорах: многие люди в нынешних Советах не на месте. «Дайте нам власть!» — говорят они. Но позвольте, даже той, что есть, вы не пользуетесь!

В. Ярин. Я сам удивляюсь. Вот и СТК то же самое: «Дайте нам власть!» Да берите вы сами эту власть! Решайте все вопросы: заработная плата так заработная плата! Вызывай директора, зови ответственного за оплату труда, клади списки, документы — кто вам нужен, как ему платить?

М. Бочаров. Погоди, во-первых, за рубежом, между прочим, никаких СТК нет. А во-вторых, да легко СТК решать, ни за что не отвечая. А руководитель знает, что назавтра ревизия, и ему голову снимут. И притом назначение любого руководителя до сих пор производится сверху, по согласованию с партийными органами.

В. Ярин. Вот круг и замкнулся. Чья это опять игра? Кому это было нужно, ведь какой-нибудь НИИ усердно разрабатывал этот институт СТК. Что же за ученые штампуют подобные проекты? Ученые-службисты, которые наловчились подгонять науку не для народа, а именно под задание руководства. Я имею в виду любую науку. А особенные претензии у меня — к исторической.

Я в Москве такого наслушался о разных периодах нашей истории, а особенно об исторических личностях, участвовавших в революции, что поневоле начнешь раздваиваться и расстраиваться, размышляя над тем, что же в действительности происходило? Уже слышал и такое, что в октябре — ноябре 1917 года была не революция, а переворот. И каждый преподносит факты один негативнее другого, и каждый утверждает, что именно это и есть историческая правда. Но почему я не слышу мнения нашей партии? Ведь есть же институты — истории партии при ЦК КПСС, Академия общественных наук? Единого мнения нет, вот рядовой человек и теряется.

Но мне бы хотелось услышать от историков и о другом: кто же все-таки создал, к примеру, теорию неперспективных деревень, кто готовил политико-экономическую справку, на основании которой эти «пять ушедших в мир иной» приняли решение войти в Афганистан — ну не могли же они вот так запросто сесть и решить,— на какие-то, подготовленные кем-то обоснования они опирались?

М. Бочаров. Можно продолжить: кто просчитал Хрущеву скороспелый коммунизм, на основании какого анализа партия принимала Продовольственную программу... Нет, но меня волнует, зачем вообще партия продолжает руководить чисто хозяйственными делами? Управляет экономикой, а идеология в загоне. И это сегодня, когда обществу так нужны на руководящих постах лидеры, способные вести за собой, отвечать на жгучие вопросы дня, вызывать у людей живой отклик. Партийные руководители, за редким исключением, нынче в этом несостоятельны.

В. Ярин. Я вынес на трибуну ВЦСПС предложение ввести в Политбюро человека труда, предварительно обсудив с народом, сколько человек будет в Политбюро...— знаешь, в зале повисла гробовая тишина: как это возможно? А когда я еще призвал профсоюз стать оппозицией партии, многие были просто в шоке. Хотя потом поддержали. Честно сказать, я надеялся, что на Пленуме все-таки выберут несколько человек трудовых профессий в Политбюро. Не случилось. И я об этом очень жалею. Потому что то, что произошло в ГДР, у нас должно было случиться гораздо раньше. Возможность была, но увы...

Мне сейчас приходится после пленарных заседаний много заниматься конкретными вопросами. Начну с коллегами говорить — у всех одно и то же: туда пришел — ничего не добился, сюда — опять ничего не решил... Противно: хожу как с протянутой рукой. Но если есть в обществе проблема, что, разве об этом знает только лидер Объединенного фронта трудящихся или Межрегиональная группа? А что, не знает об этом ЦК? Разве неизвестно было, как живется шахтеру в Кемерове? Или чем сегодня дышит Тагил? Знают. Но почему же нужно обязательно Ярину идти по министерствам, к Горбачеву, к Рыжкову, чтобы создали группу экспертов, послали бы на место?

М. Бочаров. Ну ладно, ты пробивной: пробил сегодня комиссию, дадут Тагилу, как Кузбассу, дополнительные средства. Но откуда возьмут, с кого снимут — подумал?

В. Ярин. Тагил ничего не взял чужого. Наш город дает продукции на три миллиарда. Единственное, на чем мы настаиваем,— быть хозяевами хоть части своей продукции. Нам удалось, к примеру, часть сверхпланового чугуна реализовать за границей. За валюту закупили линию производства магнитофонов в Италии, детский кардиологический центр, обувь и машины, установки для очистки стоков...

М. Бочаров. Вениамин, при чем тут «плановая — сверхплановая» — что, у нас в стране разве чугуна хватает, руды хватает? Почему мы должны по дешевке распродавать наши запасы? Да, для Тагила это хорошо. Ну, а ваши соседи, не имеющие подобных мощностей?

В. Ярин. Но мы действуем так потому, что государство ничего не в состоянии нам дать. Пусть тогда ученые пересмотрят как можно скорее цены на нашу продукцию, чтобы чугун не стоил, как теперь, копейки.

М. Бочаров. Вот это уже серьезно. Если переходить на рыночную систему, все и разом, можно было бы сделать анализ европейских цен, худо-бедно привязать их к своей идентичной продукции. Ведь мы выпускаем все то же, с разницей в качестве, технологиях, количестве.

Рынок нужен. Но я не разделяю мнения, что путь к нему лежит через карточную систему. Я категорически против карточек, считаю, они угробят страну. Посмотрите на уродства сегодняшнего распределения: мыла, стирального порошка, а если дальше — путевок, квартир (кому получше ввиду льгот, кому похуже; тебе дополнительную площадь, так как ты писатель, а тебе нет — ты металлург); в высшем эшелоне высшие льготы: Четвертое управление, загранпоездки, санатории, питание... Я недавно был в Сочи — все действует по-прежнему исправно, весь привилегированный санаторно-курортный блок... По-моему, нужно просто разом разрушить эту пирамиду распределения — взять элементарно и одним решением Совмина вернуть все товары на прилавки, отменить все льготы. Предусмотрев лишь социальную защиту неимущих. И чтобы все обеспечение шло только через труд и его оплату: заработай и купи — и зонтик, и квартиру, и путевку... Ну почему какой-то человек должен получать что-то «в порядке исключения»? Я скажу: были продуктовые заказы членам Верховного Совета к 7 ноября — на 47 рублей. Мне стыдно было брать, я не взял.

В. Ярин. Слава богу, меня тут не было, а то потом обвинили бы обязательно. Я единственное, что покупаю, так это юридическую литературу, которой не хватает.

М. Бочаров. Или когда я пару раз обедал в кремлевской столовой — опять говорить красивые слова, что стыдно было, потому что и ассортимент такой, которого не встретишь в городской столовой, и цены очень уж умеренные.

В. Ярин. Я бы лично с большим удовольствием обедал в рабочей столовой. Что же до карточек, я тоже категорически против них. Ибо в моем городе столько уже этих талонов! Даже «пьяный» талон. Я из Америки вернулся, открыл холодильник — поверите, у меня никогда в доме подобного не бывало, стоят четыре бутылки «красного» и две «белой». Я у жены спрашиваю: что это? Отвечает: сыну талоны дали, не пропадать же... Представьте, если 20-летний парень-студент по карточке водку получает — во что это молодежь втягивают!

М. Бочаров. Конечно, многое упирается в то, что нет механизма вхождения в рынок. Но мы ведь даже шага не делаем к решению проблемы — пакет экономических законов «не распечатан». А как же дать без этого самостоятельность предприятиям, регионам? А определять приоритеты (к примеру, в отношении села, о чем так много говорим) можно вообще только налоговой системой, но где тот закон? Без него нет и хозрасчета, ведь самостоятельность строится на основе бюджета, который, в свою очередь, формируется за счет налогов... А мы принятием плана, бюджета отсекли всю реформу от следующего года, фактически отдали будущий год вновь лишь на подготовку! А люди устали ждать. Нужно понять, что и Прибалтика настаивала на самостоятельности от безысходности — они тоже устали кормиться обещаниями. И я не был сторонником запретить ей хозрасчет. Но я остаюсь сторонником сделать подобное для всех. Обидно, когда маленькая Эстония требует, а огромная страна Россия как воды в рот набрала.

В. Ярин. Прибалтика делает смелый шаг. Но меня настораживают вот такие выдержки из их прессы: «Главное различие между коммунистами и фашистами,— читаю я в газете «Единство»,— в том, что если фашистские лидеры уже повешены, по шеям коммунистических вождей веревка плачет», только «жаль, мы сегодня не можем этого сделать, так как нечем намылить веревку — мыла нет».

М. Бочаров. Отвратительно. Но прости, разве у нас в России нет воинствующих молодчиков со свастиками или ублюдков, совершающих акты вандализма на местах погребения погибших за Родину? Что же теперь, лишать Россию права на экономическую самостоятельность? Вот ты прочел напечатанное в литовской газете выступление участника митинга в Вильнюсе 23 августа минувшего лета, поводом к которому опять же послужило известное заявление ЦК КПСС по Прибалтике. Но если бы российская печать так же откровенно отражала нашу митинговую разноголосицу, разве мы не встретили бы подобного на ее страницах?

В. Ярин. Может быть. Но все это вызывает у меня настороженность к прибалтийскому эксперименту.

М. Бочаров. Так на то, видимо, и расчет у тех, кто эти публикации распространяет.

В. Ярин. Если такие явления в республике есть, нужно спросить с руководства, каким образом они борются с этим. И второе. Если на сессии выступает экономист, отстаивающий прибалтийскую инициативу, пусть бы привел и исторические факты, как Россия снимала с себя последнюю рубашку, чтобы помочь другим народам, оказавшимся в беде. У меня есть цифры, но если их приведу я, на меня тут же наклеют ярлык, что я против демократии... Да, экономическая свобода республикам нужна. Но снова тот же вопрос: а где расчеты, как привяжется эксперимент к жизни Союза, страны? Мы и к этому моменту подошли, что называется, голые, снова шарахаемся из стороны в сторону... Знаешь, я поддерживаю недавний митинг в Ленинграде в той части, где звучали требования, чтобы руководство страны отчиталось, как, по чьей вине сложилось такое положение. И пусть ответят правдиво, а не как при Хрущеве, когда хлебную житницу довели до того, что хлеб выдавали по талонам, и никто перед народом не ответил.

М. Бочаров. Вениамин, ты поясни, вот ты говорил о событиях в ГДР. Да, они за 10 дней сделали больше, чем мы за четыре года: взяли и сменили все руководство — может, нам так и пойти?

В. Ярин. При всем моем критическом отношении ко многому в обществе, руководстве страны и партии я хочу призвать к благоразумию: давайте все-таки дадим время покоя, чтобы то, что нарабатывается, начало бы действовать. Нужна консолидация, сплоченность и какой-то период покоя и порядка.

М. Бочаров. Но ведь оба мы вошли в Межрегиональную группу, радикализм которой заложен в ее программе. Ты говоришь о покое, а сам возглавляешь Объединенный фронт трудящихся. Фронт — ведь это слово что-то да значит?

В. Ярин. Согласен, название неудачное, я был категорически против слова «фронт», но так решил учредительный съезд... И цель ОФТ — не воевать, а вернуть человека труда к нормальной политической деятельности.

М. Бочаров. Но и так у нас и в ЦК, и в Верховном Совете были всегда пропорционально представлены рабочие. Как раз те так называемые лидеры, которых мы величали «совесть рабочего класса». Но эта «совесть» молчала, соглашаясь как раз на те законы, последствия которых мы сегодня расхлебываем.

В. Ярин. Честных людей всегда «отстреливали», а выбирались «свадебные генералы», которые лишь прикрывались именем народа.

М. Бочаров. Вениамин, но ведь ОФТ не такое уж «дитя невинное», политику проводит далеко не детскую. Я же был у вас на съезде в Свердловске, где одобрялись выборы по производственным округам, выдвигались требования рабочего контроля над всем и вся, делались попытки противопоставить рабочего интеллигенции, поддерживалось формирование рабочих отрядов...— позиция весьма консервативная. Но коли ты лидер, личность яркая, нужно же дать ответ массам, которые на тебя надеются: куда идти, что сегодня делать. И как. Я уверен, лидерам ОФТ нужно идти на сближение с Межрегиональной группой. Поскольку и там и тут основное стремление — чтобы человек жил в обществе достойно: и политически, и экономически, и нравственно, и поскольку и те и другие сходятся в том, что сохранять устоявшийся порядок вещей дольше невозможно, хотя мы расходимся в путях достижения цели.

В. Ярин. Ну что ты, Миша, меня-то убеждаешь! Межрегиональная группа — я шел туда с открытым сердцем, потому что я услышал на Съезде и до него, на встречах с московской группой очень много созвучного тому, что во мне болит. Но потом, в Доме кино, на одном из первых собраний МРГ меня поразило, что после выступления Юрия Афанасьева часть зала встала, и раздались возгласы: «Слава Афанасьеву!» И если бы он вернулся на трибуну и отчитал их, я был бы ему очень благодарен. Но он не вернулся. Я был поражен, поднял мандат, просил слова, и Гавриил Харитонович не мог меня не видеть, потому что я сидел неподалеку с Ельциным. Я хотел выйти и сказать: я не бывал на съездах Брежнева, но я бы не хотел быть на подобных съездах Афанасьева. Ибо от нас народ ждет и скромности, и порядочности... Меня почему-то часто спрашивают: хожу ли я еще на Межрегиональную группу? Честно говоря, нет. Но не потому, что хочу выйти из нее — я всегда поддерживаю то, что вижу разумного,— просто занятость колоссальная.

И еще. Не надо же представлять так, что все в ОФТ думают одинаково. Как в любой организации и партии, мы тоже разные. Я, к примеру, никогда, говоря о человеке труда, не противопоставляю себя, рабочего, интеллигенту, а имею в виду всякого представителя честного труда любой профессии — это трудящиеся. И, кстати, я очень благодарен Москве, той патриотической интеллигенции, которая сегодня оказывает мне помощь в моих устремлениях... Что же касается рабочего контроля, то вот факт, и его могут подтвердить ленинградцы, к которым я ездил на собрание. Приехал и увидел в зале плакат: «Прессу — под рабочий контроль». Я с трибуны высказал все, что я думаю о тех, кто этот плакат повесил, потому что я категорически против, чтобы над прессой был какой-то контроль вообще. Да еще чтобы этот контроль связывали с именем рабочего. Но в то же время я за то, чтобы журналист нес ответственность по закону, чтобы не было обиженных прессой. Вот я и сейчас вынужден записывать наш разговор, хотя это унизительно — и для нас, и для журналиста.

М. Бочаров. Да, я вижу. Прекрасный диктофон.

В. Ярин. Я не боялся давать интервью радио «Свобода», встречался с журналистами в Америке и был уверен, что в отличие от нашей практики тот репортер меня не исказит, приведет мои слова полностью. Хотя тут есть и оборотная сторона: вернулся, а меня некоторые и давай полоскать — чего это ты защищаешь евреев... При чем тут еврей, в самом деле! Идет все тот же, что и долгие десятилетия, «поиск врага»: то в образе еврея, то в лице консерватора или радикала, еще кого-то... Мы что же, снова вернемся к тем черным годам расправ и преследований? Нет, я стоял в своей предвыборной платформе и стоять буду на том, чего очень бы хотел: чтобы русский и еврей, татарин и немец, и любой человек гордился, что он из нашей республики, из нашей страны — даже и при нашей скудной жизни — гордился хотя бы тем уважением, с которым мы относились бы друг к другу. И надо вместе искать выход из кризиса.

М. Бочаров. А как ты это себе представляешь?

В. Ярин. Когда у меня на работе на стане возникает критическая ситуация, решения принимаю я, старший оператор. И беру на себя всю полноту ответственности. И если я ошибаюсь, встаю на рапорте и обоснованно отчитываюсь: где и в чем я допустил просчет, и если я это понял, подобного больше не повторится.

М. Бочаров. Вот и у нас в стране уже наступила экстремальная ситуация, чрезвычайная обстановка.

В. Ярин. Согласен. Так давайте соберем Верховный Совет и продумаем, что делать, и честно об этом скажем.

М. Бочаров. А ты не считаешь разве, что мы уже много думали, и даже довольно хорошо все продумали? Ведь мы уже приняли ряд важнейших решений: обсудили и одобрили в первом чтении главнейшие экономические законы. Но для чего понадобилось выносить их на всенародное обсуждение? Представь, в чрезвычайной ситуации ты у себя на стане начнешь собирать рабочих, обсуждать варианты, выслушивать и сопоставлять мнения... Когда ты на стане старший, то и решение принимаешь и отвечаешь головой. И мы сейчас все — и руководители государства, и ЦК, и Совмин — должны ответственность нести головой за НЕПРИНЯТИЕ решений. Или за затягивание принятия решений. Под предлогом демократии, мол, «надо посоветоваться с народом».

В. Ярин. Ну так нельзя рассуждать! Народ обсудит в коллективах, пришлет свои мнения — везде же есть специалисты...

М. Бочаров. Значит, будем ждать, пока народ нам выдаст рекомендации? Прости, но это же иллюзия демократии, и у нас уже имеется на этот счет печальный опыт. Мы всем народом обсуждали ту самую Конституцию, которую сегодня называем презрительно брежневской. Обсуждали и поправки к ней — перед выборами, а теперь — опять же всем миром — признали, что выборы были недемократичными, надо переделывать Закон.

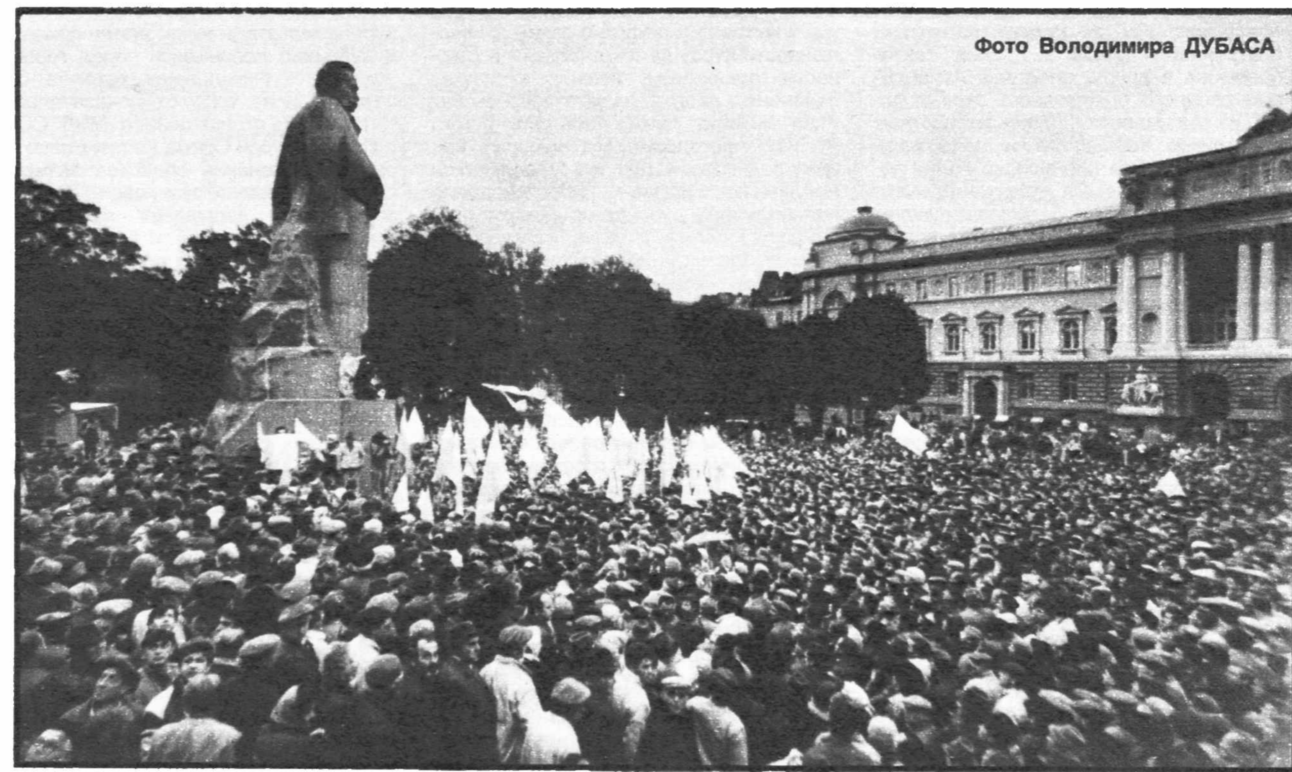
Для принятия ответственных решений на производстве есть старший, на фронте — командир, в любом государстве — руководители. В данном случае решение должны принять Горбачев и Рыжков. В большей степени, конечно, Рыжков, возглавляющий правительство. Но тут мы снова возвращаемся к тому, что Верховный Совет не принял важнейших законов, без которых серьезные решения невозможны. Чего же мы ждем? На что мы угробили полгода?

В. Ярин. Я не могу согласиться с тем, что мы вообще ничего не делали. Мы работаем тут, как заложники. Но и я не исключаю, что еще немного, и народ нам скажет: а ну-ка, давайте-ка все отсюда — не оправдали вы наших надежд!

М. Бочаров. У нас есть последняя надежда открыть реформе «зеленый свет» с 31 декабря нынешнего года. Основополагающие законы практически готовы, Верховный Совет полномочен принять их. И мы можем сделать это, к примеру, прервав работу Съезда на день-два, хотя этого и не предусматривали. Внести нужные изменения в Конституцию, чтобы эти законы начали действовать. Взять на себя ответственность, принять решение, и пусть наконец-то страна начинает жить по-новому.

Признаюсь, мне показалось нереальным предложение М. Бочарова кардинальным образом изменить ход Съезда. Да и в целом от разговора осталась неудовлетворенность— разбросанный, хаотичный, мечущийся от темы к теме, он очень напоминает те, что ведутся нередко на пленарных заседаниях. Но прокручивая вновь и вновь диктофонную запись, я убеждалась: не в этом суть. Главное, и на сей раз, и у этих моих собеседников нет в запасе никакого золотого ключика к счастью. Очень жаль, но нету! Может быть, пора наконец нам расстаться с верой в чудеса, которые якобы должны совершить эти люди с вишневыми значками на пиджаках? Если даже согласно самым худшим опасениям, которыми поделился В. Ярин, народ вместо нынешних депутатов наберет новых, никакого «вдруг» не случится. Нас ждет долгий и трудный процесс преобразований. Из которых одно из самых важных— преобразование честных, думающих, неравнодушных людей (а их среди народных избранников большинство) в профессиональных политиков. Они учатся выслушивать иную точку зрения и понимать позицию других. Наконец, они расстаются с иллюзиями, перестают самообольщаться, рассчитывать на «кавалерийский натиск», обманываться восторгами пылких избирателей, они приобретают критический взгляд на результаты своей чрезвычайно важной деятельности. Лица наших избранников укрупняются на глазах, обнаруживают себя богатые характеры, проявляются яркие личности. В конце концов не в этих ли переменах, не в этих ли людях и есть наша надежда? Возможно, последняя.

Ирина КОНОВАЛОВА.


Фото Володимира ДУБАСА

Колонна прошла еще несколько метров и остановилась: дальше пути не было. Впереди, неподалеку от здания УВД, стояла плотная шеренга офицеров милиции и внутренней службы. Поигрывали дубинками, молчали. Был хмурый октябрьский вечер, фонари погашены — тьма беспросветная. И эта внезапная остановка, и этот густеющий мрак заставили людей замолчать и насторожиться. Когда обернулись назад, стало уже страшно: улицу Коперника замкнула еще одна милицейская цепь. Слева сплошной забор, справа школа, еще забор и здание почтамта. Ни одного открытого подъезда, ни одного проходного двора. Кольцо, которое уже не разомкнуть. В нем — сотни людей. Молодежь и старики, женщины и дети.

В ПОТЕМКАХ

**Георгий РОЖНОВ,
обозреватель «Огонька»**

Вслушались: вот на верху улицы урчит, подъезжая, один автобус, за ним второй, третий. Все чаще, все громче, все ближе дробь кованых башмаков. Как ни темно, разглядели: белые каски, блестящие щиты, прозрачные забрала на лицах. И дубинки у каждого, кто клиньями рассекал колонну. Дубинки эти, разом взметнувшиеся над людьми, опустились кому на плечи, кому на спины, кому куда попадет. Если человек падал, били лежачего. Если уворачивался, догоняли и добавляли еще. Если женщины заходились в крике, их успокаивали несколькими ударами сразу и покрепче — замолкали. Если мужчины пытались их заслонить, каждого поодиночке прижимали щитами то к стене почтамта, то к забору и отделывали уже основательнее.

И вот уже ни колонны, ни толпы, ни бегущих в ужасе людей. Тишина. Порядок.

Всего за семь минут работы бойцов отряда милиции особого назначения — ОМОН. Всего лишь с помощью палок резиновых — ПР-73. Ни одного удара мимо — профессионалы.

Так в городе Львове заканчивалось первое октября, дата для горожан знаменательная. Праздник на празднике: финал IV республиканского фестиваля народного творчества и одновременно «День Львова-89». К тому же и юбилей — 50-летие воссоединения украинского народа.

Когда улицу Коперника прочесывали дубинками молодцы из ОМОНа, когда избитые люди переулками пробирались кто домой, а кто в ближайшие больницы, когда водители второго и девятого маршрутов останавливали трамваи подле шатавшихся от побоев пешеходов и помогали им подняться в вагоны, когда поливальная машина с номерным знаком ЛВО 20-50 смывала кровь с брусчатки, местные радио и телевидение все еще гремели удалыми народными песнями и шлягерами рок-групп.

Гулять так гулять.

Как ни хочется мне и, надеюсь, читателю узнать о подробностях этого праздничного побоища — повременим. Потому что как бы доказательно я ни описывал сейчас все обстоятельства случившегося, нам, право, с ходу не понять, почему собралась на улице Коперника эта толпа, и чего это ради милиция так жестоко с ней обошлась.

Вспомним пока: что мы слышали за последние полгода-год об обстановке во Львове? Те, кто смотрит по телевидению хотя бы программу «Время» или читает одну-две центральные газеты, убеждены: Львов наводнен экстремистами всех мастей, число которых множится не по дням, а по часам. Чего стоит один только перечень неформальных организаций, действующих здесь: это и Народное движение за перестройку (Рух), и Украинский Хельсинкский союз (УХС), и Союз независимой украинской молодежи (СНУМ), и Студенческое братство, и Товарищество украинского языка имени Тараса Шевченко, и Комитет защиты УКЦ, и «Товарищество Льва» — уверен, что, пока я напишу и напечатаю эту статью, во Львове образуется не одна группа или общество. Больше года не проходит недели без санкционированных или стихийных митингов, демонстраций, пикетирований то прокуратуры, то обкома партии, то УВД — повод выйти на улицу от серьезного до смешного. Могут толково и обстоятельно говорить о надвигающейся экологической катастрофе, а могут с тем же пафосом ринуться освобождать человека, которого никто не арестовывал. В самом центре города, где посредине огромной клумбы установлен закладной камень будущего памятника Т. Г. Шевченко, с раннего утра и до позднего вечера толпятся когда десятки, а когда и тысячи людей. Как правило, одновременно выступают несколько ораторов, на стендах каждый может обнародовать все, что ему придет в голову. Круглые сутки развевается укрепленное на высоком флагштоке желто-голубое полотнище, без выходных работают продавцы значков, вымпелов и маек с той же расцветкой, самиздатовских газет и журналов. Вся эта пестрота общественной жизни Львова до недавнего времени с официальных трибун именовалась однозначно: украинским буржуазным национализмом.

Побывав во Львове в августе, я едва ли не в первый день проникнулся ощутимой тревожностью здешней жизни. Казалось, что гомон толпы, роящейся около клумбы с портретом Шевченко, не затихает никогда, а сотни людей вообще не отходят ни от зданий обкома партии, ни прокуратуры.

Так что же: конфронтация ширится, и ни у той, ни у другой стороны нет уже желания предотвратить взрыв?

Желание, как я позже убедился, было, причем искреннее и настойчивое. И если я могу утверждать, что далеко не все активисты неформальных объединений привержены радикальным взглядам, то тем более должен с удовлетворением подчеркнуть, что партийную и Советскую власть в городе возглавляют люди, которых при всем желании не назовешь ни консерваторами, ни рутинерами. Не преувеличу, если скажу, что все львовяне от мала до велика знают: первым секретарем горкома партии у них работает Виктор Александрович Волков, а председателем горисполкома — Богдан Дмитриевич Котик. Оба они молоды и по возрасту, и по стажу работы на своих высоких постах. Оба не терпят догм, стереотипов, хождения по струнке.

В то время, когда и республиканское, и областное руководство все еще вело против неформалов атаки, Волков и Котик по своей собственной инициативе встретились с теми из их лидеров, которые наиболее популярны и авторитетны в городе — профессором университета О. Влохом (Рух), Б. Горынем (УХС), И. Гелем (Комитет защиты УКЦ), И. Калинец («Милосердие»), Е. Грыныным («Мемориал»). Разговоры они вели и в официальных кабинетах, и за чашкой чая в тишине квартир. Секрета из этого, разумеется, не делали: Волков, например, рассказал о начавшемся диалоге по республиканскому телевидению, а Котик — в областной «молодежке». Представители властей и неформалов сошлись в главном: никто из них не желал противостояния, нагнетания напряженности, решительно осуждались проявления экстремизма как с той, так и с другой стороны. Подобное вольнодумство дорого обошлось и мэру, и первому секретарю горкома — оба удостоились язвительных реплик и в киевских газетах, и нелицеприятных разговоров в кабинетах высоких в ту пору лиц. Они, дескать, и заигрывают с чуждыми нам вожаками, и поступаются принципами, и утратили классовое чутье. Знакомый набор ярлыков, не правда ли? Но вскоре стало очевидным главное: безответственные горлопаны среди неформалов поутихли, проведение каждого массового митинга обсуждалось в горсовете в точном соответствии с законом.

Не думалось тогда, что менее чем через месяц мне придется снова спешить во Львов в тревоге и отчаянии. Еще по пути, в вагоне поезда, я просчитывал возможные варианты изменения обстановки в городе и вновь приходил все к тому же выводу: ничто не предвещало беды.

И все же — случилась.

О том, каким кровавым выдалось воскресенье девятого апреля в Тбилиси, знают теперь миллионы людей — это наша общая боль.

Правда о менее кровавом львовском воскресенье первого октября (отличие — били, но не до смерти) известна немногим. В том числе и мне. Но если официальные ее охранители говорят пока вовсе не то, что знают, и тем более не то, что думают, то у меня, как можно догадаться, задача другая: мы должны знать, что горький урок тбилисской трагедии не пошел впрок, что в очередной раз были оскорблены и унижены тысячи соотечественников, что снова нанесен моральный урон государству, стремящемуся стать правовым.

Вряд ли кто из львовян знает, насколько подозрительным казался их праздник для руководителей УВД, какие немалые силы были заблаговременно стянуты в город под предлогом обеспечения общественного порядка. Нигде не предавалось огласке и то, что начальник политического отдела областного УВД полковник милиции А. Паникарский вынужден был в тот день исполнять отнюдь не свойственные политработнику обязанности — он командовал отрядом милиции, составленным из работников сельских райотделов области в количестве 72 человек. Его

коллега — заместитель начальника областного УВД по кадрам полковник внутренней службы А. Резник также пребывал в другой ипостаси: командиром сводного офицерского отряда почти из ста человек, сплошь кабинетных работников городского и областного управлений. Все это войско было вооружено резиновыми дубинками, которые и были около 8 вечера пущены в ход против подошедших к УВД людей. Толпа была тогда небольшая, собрал ее здесь слух нелепый и вздорный — неужели двое полковников так испугались ее? Неужели не понимали, что ничем не оправданная жестокость их подчиненных спустя полчаса соберет на той же улице Коперника уже тысячи возмущенных горожан?

Сейчас можно сделать по крайней мере два вывода: во-первых, взбаламученная слухами толпа очень скоро поняла вздорность слухов, подтолкнувших ее на пикетирование УВД, и никаких агрессивных действий не предпринимала. Народный депутат СССР писатель Роман Федорив, вместе с поэтом Романом Лубкивским, разбиравшийся в горестных событиях по горячим следам, внес существенное дополнение: «Полковник Паникарский сказал нам, что люди его послушались, что никто не бросал камни, никто никого не оскорблял. Люди освободили проезжую часть улицы и стали расходиться». Не могу удержаться от вопроса: почему полковник и в беседе с народным депутатом, и в многочисленных своих последующих выступлениях именно в этом месте прерывает свой рассказ? И почему в одном случае люди у него просто расходятся, в другом их оттесняет милиция? Да потому что иначе ему придется признать, что именно ничем не мотивированные и потому противоправные действия его подчиненных и привели к нарастанию общественного возмущения. И если в первый поход к УВД люди шли, ведомые слухами, то во второй — вполне объяснимым протестом против произвола. Уже не сотни — тысячи людей стали вновь заполнять улицу Коперника. По дороге к ним присоединялись многие участники только что закончившихся праздничных торжеств — отсюда понятно, почему в двигавшейся к управлению колонне было столько женщин, подростков, детей на руках у родителей. Не могу поверить, чтобы милиционеры ОМОНа даже впотьмах не разглядели их через свои пластиковые забрала и щиты. Не пойму и другого: если уж руководителей львовской милиции разом покинули и здравый смысл, и трезвый расчет — куда же смотрели отцы города, которым я не так давно столь откровенно симпатизировал? Почему не они, а белые каски встретили негодующих горожан?

Председателю горисполкома Б. Котику и первому секретарю горкома партии В. Волкову я задал один и тот же вопрос: где они были вечером первого октября?

И Богдан Дмитриевич, и Виктор Александрович ответ дали одинаковый: после праздничных торжеств находились дома, телефоны молчали. Оба уверены, что в неведении их оставили намеренно. До сих пор оба городских руководителя не могут получить ответы на вопросы, которые им задают и коммунисты, и беспартийные: кто дал команду бросить против мирного шествия ОМОН? Почему милиция действовала с такой жестокостью и никто из руководителей не вмешался, не пресек эту вакханалию насилия?

В подобных ситуациях традиционно принято интересоваться: кому это выгодно? Если согласиться с логикой Волкова и Котика — прежде всего тем, кто готовил и проводил известную уже карательную акцию. Согласен: для тех, кто хочет, чтобы в подвластном им городе стояла благостная тишина единомыслия и казарменного послушания, разные сообщества, товарищества, движения, галдеж митингов, молебнов, шествий — зараза убийственная, нож к горлу. Верю, понимаю, нелегко, а подчас и муторно твердить о своей приверженности курсу демократизации и гласности, плюрализму мнений и новому мышлению, когда разные неформалы едва ли не на голову тебе сели и того и гляди проголосуют на выборах, как кому вздумается. Как тут не поддаться искушению огреть распоясавшихся вольнодумцев дубинками — вдруг присмиреют? Если я в своих вольных домыслах близок к действительности, то какую же медвежью услугу оказали власти приверженцы сильной руки! Если еще вчера каждое из неформальных объединений старалось собирать на митинги только своих сторонников, то уже второго октября общая боль сплотила всех и единогласно принятая на стихийном митинге резолюция призвала к единству всех горожан, независимо от их национальности, убеждений и вероисповедания.

Оглашенное здесь же обращение к гражданам Львова кончалось призывами, которые скандировали тысячи людей: «Мы — за перестройку! Неосталинизм не пройдет!» Если еще вчера львовяне умели и митинговать, и работать, то сразу же после побоища был создан объединенный забастовочный комитет, призвавший приостановить работу с 10 до 12 часов третьего октября. В предупредительной забастовке протеста участвовали свыше сорока предприятий, учреждений, учебных заведений. Бастующие требовали: 1) установить виновников позорного побоища и привлечь их к уголовной ответственности; 2) провести объективное следствие с привлечением народных депутатов и представителей общественных организаций. И, наконец, если вчера львовяне собирались по поводу и без повода, то теперь 50-тысячный митинг у памятника Ивану Франко призвал их к выдержке и законопослушанию.

Для расследования обстоятельств львовской беды в город прибыла группа членов Верховного Совета СССР, возглавляемая председателем Комитета по вопросам гласности, прав и обращений граждан В. Фотеевым. Параллельно с ними стала работать общественная комиссия, прокуратура области возбудила уголовное дело.

Пленум Львовского городского комитета партии расценил события первого октября как позорный факт. Более того, коммунисты города нашли в себе мужество пересмотреть принятое в марте и подтвержденное в июле решение, запрещавшее партийцам сотрудничать с неформальными организациями. Было подчеркнуто, что решения учредительного съезда народного движения Украины за перестройку не противоречат ни Уставу КПСС, ни Конституции, ни провозглашенному партией курсу на дальнейшую демократизацию общественной жизни. Пленум горкома согласился и с тем, что необходимо решительно отказаться от порожденного годами застоя одностороннего освещения таких «белых пятен» в истории Украины, как образование Западноукраинской народной республики (ЗУНР), создание отрядов сечевых стрельцов, Красной украинской галицкой армии, позорных фактов сталинских репрессий и массовых депортаций, способствовавших активизации группировок вооруженной националистической оппозиции ОУН и УПА.

Основное содержание состоявшегося на пленуме разговора я бы определил так: стремление умиротворить, успокоить львовян правдой. И пусть она была пока скупой, половинчатой, важен был именно этот первый шаг, логичный и вполне объяснимый: нужно было скорее обуздать эмоции, не допустить, чтобы одно насилие породило другое, ответное. Только бы не ложь, только бы не глухота к народной боли. Даже половинчатость правды была в те дни понятной: еще не закончено начатое прокуратурой следствие, еще продолжается работа депутатской и общественных комиссий. Другое дело, если бы, скажем, руководители милиции или надзирающие за их деятельностью прокуроры испытали нечто вроде покаяния и публично повинились перед горожанами в тех беззакониях, которые, собственно, и не требуют доказательств. К примеру, утвержденная МВД СССР и Прокуратурой Союза инструкция о порядке применения средства активной обороны — палки резиновой ПР-73 категорически запрещает пускать ее в ход против женщин и несовершеннолетних. Можно было признаться в явном нарушении этого нормативного акта?

Снова предоставляю слово заместителю начальника УВД облисполкома, начальнику политотдела полковнику милиции А. Паникарскому: «Если дать однозначную оценку этим событиям, то я считаю, что милиция действовала в рамках закона». И далее: «Как нам известно, на сегодня в медучреждения за помощью обращались 30 человек (один госпитализирован). Среди них детей нет». Запомним и эту оценку милицейских бесчинств, и эту цифру пострадавших, и эту уверенность в отсутствии среди пострадавших детей — чуть позже мы получим возможность убедиться, насколько в ладах с офицерской честью полковник милиции.

Хуже того — подобные утверждения руководители УВД отстаивали в своих публичных выступлениях на многих предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях и почти всякий раз их не только выпроваживали возгласами «Позор!», но и требовали от городского забасткома разрешения приостановить работу.

А с каким гневом встретили львовяне заявление на сессии Верховного Совета республики первого заместителя прокурора Украины Н. Потебенько о том, что действия отряда милиции особого назначения были правомерными! Если даже предположить, что это было именно так, неужели страж законности запамятовал, что именно закон запрещает ему делать столь однозначные выводы до окончания следствия? Его львовский подчиненный именно на это и ссылался, когда отказался от встречи со мной.

Уверен: безответственные заявления руководителей правоохранительных органов и расшатали то хрупкое равновесие, которое с немалым трудом поддерживалось в городе. 27 октября здесь прошла уже суточная забастовка протеста против кампании лжи об известных событиях. Председатель забастовочного комитета, рабочий мебельной фабрики «Карпаты» В. Фурманов говорил мне:

— Мы не требуем ни куска мыла, ни копейки прибавки к зарплате — нам нужна только правда. Неужели непонятно, что в каждом трудовом коллективе вот уже скоро месяц задают одни и те же вопросы: за что, по какому праву избили наших земляков? Почему в ответ мы слышим или молчание, или небылицы?

Словно бы в ответ на этот новый взрыв возмущения республиканская газета «Радянська Україна» как раз накануне праздника, 5 ноября, предоставляет слово заместителю прокурора Украины С. Литвинчуку. Корреспондент: «Хотелось бы услышать ваше мнение о событиях, которые произошли 1 октября во Львове». С. Литвинчук: «О львовских событиях немало было написано в прессе, необходимые объяснения по этому поводу на сессии Верховного Совета УССР дал первый заместитель прокурора республики Н. Потебенько. Расследование ведет комиссия Верховного Совета СССР, предварительные выводы которой свидетельствуют: правоохранительные органы действовали обоснованно и правомерно. Считаю, что данный инцидент полностью на совести экстремистов». Могу предположить, как бы развернулись события во Львове после этого очередного поклепа, если бы его автора не ожидал непредвиденный конфуз: за день до его откровений львовская газета «Ленінська молодь» опубликовала долгожданный документ: «Окончательные выводы депутатской комиссии». Текст его обстоятелен и пространен, поэтому я позволю себе цитировать только основные положения и, разумеется, выводы. К читателю одна просьба: сопоставить мнение членов высшего законодательного органа страны с теми заявлениями работников правоохранительных органов, которые я приводил выше.

Итак, слово комиссии Верховного Совета СССР: «1 октября 1989 г. во Львове проходило празднование Дня города, приуроченное к 50-летию воссоединения Западной Украины. Праздничные гулянья, концерты, ярмарки проходили в основном спокойно, без значительных эксцессов». Между тем прокурор области Л. Изосимов возмущался хулиганскими действиями, анархией и экстремизмом именно на этих мероприятиях. Цитирую далее: «Руководители милиции приняли решение оттеснить массы людей с улицы, и без предупреждения отряд милиции особого назначения применил средства активной обороны — резиновые дубинки. Собравшиеся стали рассеиваться, но здесь вместо того, чтобы ограничиться принятыми мерами в отношении отдельных лиц, отряд милиции особого назначения превысил пределы необходимой обороны, стал преследовать граждан, нанося многим из них удары резиновыми дубинками. В итоге среди пострадавших оказалось немало людей пожилого возраста, женщин и даже детей. По состоянию на 15 октября 65 человек обратились в органы здравоохранения города за медицинской помощью в связи с травмами, полученными в результате столкновения с милицией». Не напрасно я просил запомнить, что по этому поводу говорил полковник Паникарский — любопытно, что он скажет теперь?

Продолжаю: «Как установлено народными депутатами СССР, советские и правоохранительные органы г. Львова пытались отнестись к инциденту 1 октября как к рядовому событию, не приняли исчерпывающих мер по ликвидации его негативных последствий, правдивому информированию о случившемся всего населения города... Не оказали стабилизирующего воздействия на обстановку и МВД СССР и УССР, которые значительную часть своих усилий затратили не на выяснение истины, а на защиту «чести мундира» подведомственных организаций». Думаю, комментарии здесь не нужны. И вот он, главный, долгожданный для львовян вывод: «Обстановку можно было стабилизировать мирным путем, учитывая то, что, как свидетельствуют некоторые представители органов МВД, вначале никаких агрессивных намерений собравшиеся люди не проявляли и не было нужды применять так называемые средства активной обороны».

Теперь могу признаться: и у меня, как мог уже догадаться проницательный читатель, тоже были встречи с «некоторыми представителями органов МВД», причем по их просьбе строго конфиденциальные и в некотором роде даже конспиративные. А что мне еще оставалось делать после бойкота, объявленного и милицейскими, и прокурорскими чинами? Так вот: все мои пожелавшие остаться неизвестными собеседники не только подтвердили уже известные теперь выводы депутатской комиссии, но существенно их дополнили. Сообщенные мне факты я обнародую лишь в одном случае: если следственная группа прокуратуры не скажет всей правды о событиях первого октября, не предъявит конкретным виновникам конкретные обвинения.

Обстановка во Львове действительно сложна и пока непредсказуема. На многие вопросы здесь ждут сейчас ответа — прямого, честного, откровенного. И забастовочный комитет еще не распущен. Он заседает неподалеку от обкома партии, в старинном здании, которое называется Пороховой башней.

Довелось мне около семи лет проработать главным редактором ведомственного журнала «В мире книг». Один глава нашего ведомства требовал от журнала одной линии, сменивший его — другой, следующий — третьей. Один наш куратор из Отдела пропаганды ЦК КПСС как мог помогал редакции в работе, другой ни во что не вмешивался, а третий изрядно мешал.

И когда на последней сессии Верховного Совета звучали мнения, что законопроект о печати якобы защищает лишь журналистов, я вспоминал своих многочисленных за три десятилетия работы в печати «инструкторов», «контролеров» и цензоров. Да, среди них были и умные, образованные, честные люди. Но были и невежды, амбициозные себялюбцы и откровенные устроители собственных «персональных коммунизмов».

Так, может быть, довольно зависеть от «усмотрения» добрых или недобрых дядей и тетей, которые по телефону, не оставляя следов, инструктируют, наставляют, запрещают или милостиво разрешают? Отвечать надо перед своей совестью, перед согражданами — читателями и перед законом. Иные принципы работы печати с правовым государством просто несовместимы. Не только журналистов призван защищать закон о печати — все наше общество, каждого гражданина, чей голос не будет заглушен зычным командным басом.

Юрий ИДАШКИН

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

Помнится, было это то ли в 1963, то ли в 1964 году. Тогда я работал ответственным секретарем в «Октябре». Главный редактор журнала В. Кочетов лежал в больнице. Случалось так, что с утра «на хозяйстве» оставался я один: ответственный секретарь всегда при деле. Телефон правительственной связи, «вертушка», звонил редко, обычно спрашивали редактора и, узнав, что он в больнице, вешали трубку. Но обладательница приятного низкого женского голоса по «вертушке» не довольствовалась моей информацией о болезни главного. Назвав свою фамилию и сообщив, что она — из ЦК КПСС, моя собеседница сказала, что прочла вышедший на днях из печати номер журнала. Пока она, не торопясь, веско и обстоятельно давала характеристики различным материалам номера, я лихорадочно соображал, кто она. В то время редакцию курировали два отдела — культуры и пропаганды, но, насколько мне было известно, в числе занимавшихся журналом моя собеседница не значилась.

Не помню уж, что ей в том номере понравилось, а что нет, одно ее замечание показалось мне нелогичным. Заключалось оно в том, что, описывая в новом романе правительственный прием, А. Первенцев напрасно, на взгляд моей собеседницы из ЦК КПСС, перечислял всякие яства, в том числе икру, которые там подавали. «Вы передайте автору и главному редактору, что в романе допущена бестактность: когда икра практически исчезает из магазинов, незачем живописать приемы, на которых ее подают, и тем самым пробуждать в народе недовольство»,— строго завершила она беседу.

Я расспросил коллег. Никто сотрудницы ЦК с такой фамилией не знал. Но мистификация исключалась: по телефону правительственной связи не разыгрывают. Едва вышел в свет следующий номер, раздался звонок по «вертушке». Осведомившись о здоровье главного редактора, моя новая знакомая приступила к устной рецензии. На этот раз номер ей в основном понравился, было лишь несколько беглых замечаний по стихам И. Сельвинского, да еще пожелание шире освещать международную тематику и ужать «непомерно разбухший», как она сказала, отдел «С улыбкой», который был в то время предметом нашей гордости. Не буду кривить душой: я не спорил с замечаниями, но В. Кочетову их подробно пересказал. Он пожал плечами: фамилия, названная мною, была ему незнакома.

Мы уже забыли было о нашем новом кураторе, как месяц спустя, когда главный редактор приступил к работе и я зашел к нему, раздался звонок по «вертушке». Кочетов снял трубку, назвал себя и сделал мне знак рукой: «Внимание!» Это была она. Главный с минуту молча слушал, по-видимому, очередную рецензию, а потом прервал ее: «Простите, я не понял, вы из какого отдела?» После некоторого препирательства, уступив жесткому напору, собеседница вынуждена была признаться, что она из ...сельхозотдела, а звонит «как требовательная читательница». Поигрывая желваками, Кочетов посоветовал «требовательной читательнице» впредь сосредоточить усилия на выполнении своих основных функций. Теперь, по прошествии многих лет, я думаю, что она, к нашей общей беде, видимо, последовала этому совету. Ох, как много людей, далеких от сельского хозяйства, давали указания крестьянам, когда и что сеять и когда убирать урожай, а немало агрономов, зоотехников, химиков учили поэтов писать стихи, балерин танцевать, а сатириков — острить. Да, «человеки со стороны», как названы они в статье В. Кардина («Огонек» № 34), нанесли нашему обществу поистине неисчислимый ущерб. И если дама из сельхозотдела была просто не в силах преодолеть искушение поруководить литературой, так сказать, в порядке хобби, то другие работники аппарата делали это в порядке исполнения служебных обязанностей.

Тема эта чрезвычайно важна и болезненна, и потому во избежание неправильного понимания моей статьи считаю необходимым сделать следующее замечание. Я более двенадцати лет проработал в редакции журнала «Октябрь», и естественно, что ряд приводимых мною примеров относится к деятельности этого журнала. Но поскольку сейчас очень многие литераторы стремятся представить себя и органы печати, в которых они трудились или печатались, истинными предтечами перестройки, надо оговорить, что я отнюдь не пытаюсь в этой статье подвергнуть ревизии нынешнюю «огоньковскую» оценку общественно-литературной борьбы 60-х годов. Но именно потому, что в те годы «Октябрь» был несравненно ближе структурам власти, чем «Новый мир», произвол «человеков со стороны» в отношении отнюдь не оппозиционного журнала позволяет полнее изучить механизм их деятельности.

Память сохранила немало курьезных примеров их «отеческой» опеки. Как-то раз один из наших аппаратных кураторов, В. Н. Еременко, по телефону потребовал от меня объяснений, для какой цели «Октябрь» пропагандирует петлюровско-бандеровский гимн. Выяснилось, что речь идет о краткой рецензии поэта Ивана Вараввы на выпущенный Краснодарским издательством фольклорный сборник. «Знаете ли вы, что одну из песен, включенных в сборник, распевали петлюровцы и бандеровцы?!» — грозно вопрошал куратор. «Нет, не знаем»,— ответствовал я.— «А обязаны знать, на то вы и редакторы»,— отверг мои оправдания инструктор ЦК. И тут мне пришел в голову спасительный аргумент: «Ведь «Песнь о вещем Олеге» марковцы и дроздовцы приспособили под свой гимн. Так что же, отказаться на этом основании от переизданий «Песни о вещем Олеге»?» После паузы куратор сухо обронил: «Разберемся...» Я тогда и предположить не мог, что наш суровый и, как мне казалось, не весьма компетентный куратор, отработав немалый срок в аппарате ЦК, возглавит крупнейшее писательское издательство, а став председателем правления «Советского писателя», сделается широко издаваемым писателем, тираж книг которого достигнет миллиона экземпляров. Кстати, его руководящая деятельность в литературе прервалась не по причине обнаружившейся некомпетентности, а в силу очень уж вызывающего нарушения этических и не только этических норм...

Думаю, что многие литераторы и редакторы до сих пор помнят деятельность Н. П. Жильцовой, долгие годы проработавшей в аппарате ЦК КПСС. Вот уж кто ни малейших сомнений в своем праве поучать и наставлять не испытывал, так это Нина Павловна. Какое отношение она имела к литературе, почему ей доверили курировать литературные журналы и деятельность Союза писателей РСФСР — бог весть. Но я ее запомнил особенно хорошо, а по какой причине — стоит рассказать подробно.

Старый большевик, писатель Лев Овалов, по заказу Политиздата работал над документальным романом о жизни известной революционерки Р. С. Землячки. Главы из рукописи он предложил «Октябрю». Материал для того времени был довольно острый. Писал Овалов, в частности, о том, как пытались бундовцы, учитывая национальность Землячки, привлечь ее на свою сторону, столкнуть с Лениным, о трудном характере Землячки, ее бескомпромиссности, граничившей с прямолинейностью и жестокостью (известно, что после поражения первой русской революции Землячка требовала расстрела большевистских руководителей восстания в Москве), фигурировал в рукописи и Троцкий — отнюдь не в позитивном, но и не в традиционном, огульно злопыхательском плане.

Редакционная работа над рукописью подошла к концу, автор скрепил своей подписью верстку, а через некоторое время меня вызвали к заместителю начальника Главлита В. С. Фомичеву, бывшему помощнику секретаря ЦК КПСС Ф. Р. Козлова. Разговор с Фомичевым был долгий и трудный. Основной смысл его замечаний сводился к тому, что из оваловского текста должны быть удалены все упоминания о Троцком, в том числе и документы. Я возражал, доказывая, что Овалов не реабилитирует Троцкого, а, напротив, более глубоко и аргументированно показывает суть троцкизма, что должно способствовать борьбе против неотроцкизма. И вот тут произошло нечто поразительное. В. С. Фомичев, неизменно корректный вежливый, спокойно спросил: «А кто, собственно, поручил вам бороться с троцкизмом?» «Как? Да это же долг каждого коммуниста-ленинца!» — запальчиво ответил я. «Каким решением ЦК редакции журнала «Октябрь» поручена борьба с троцкизмом? Нет такого решения!» — Фомичев встал из-за стола: «Овалова мы в таком виде не подпишем».

Выхода не было, и мы попросили автора сделать ряд купюр и поправок. Но Л. С. Овалов, проработавший несколько лет первым заместителем главного редактора журнала «Москва» и хорошо знавший все редакционные порядки, сразу понял, что внезапно возникшие на стадии сверки редакционные замечания продиктованы Главлитом. Он не только не согласился с замечаниями, но написал письмо в ЦК, жалуясь не на редакцию, которая, как он догадывался, не виновата, а на Главлит. И вот тут-то за меня принялись. Один из работников Главлита обвинил меня в разглашении государственной тайны (ведь Главлита у нас официально не существовало и ссылаться на него запрещалось) и проинформировал о моем преступлении ЦК. Тут же мне позвонила Жильцова и потребовала представить письменные объяснения. Трагикомизм ситуации усугублялся тем, что я действительно ни слова не сказал Овалову о своей беседе с Фомичевым. Но это, естественно, уже никого не интересовало: старый большевик написал резкое и, по-видимому, убедительное письмо в высокий адрес, и кого-то надо было наказать. Кого? Не Фомичева же, запретившего произведение. Значит, меня, не сумевшего так отказать Овалову, чтобы он остался всем и всеми доволен и не вздумал жаловаться. Запахло серьезной неприятностью, и я доложил главному редактору, что Жильцова настоятельно требует письменного объяснения.

Кочетов решительно сказал: «Ничего не пишите. Если напишете, ваше объяснение положат в папку. Появится папка — возникнет дело. И тогда последствия непредсказуемы. Поезжайте в командировку, возьмите бюллетень, если еще раз позвонят — притворитесь идиотом, только ничего не пишите...»

Я действительно куда-то уехал на неделю, потом и впрямь заболел, и Жильцова, видимо, переключившись на более важные дела, обо мне забыла. А товарищ из Главлита, проинформировавший ЦК о якобы совершенном мною преступлении, до сих пор трудится там, только, разумеется, сильно вырос в должности. Недавно слушал я его по телевидению: отвечая на вопрос о прежней деятельности Главлита, он все объяснял указаниями ЦК. Что ж, в принципе он прав. Только никак я не могу забыть, что Жильцова-то действовала по его докладу, а не наоборот.

В 1971 году в редакцию «Октября» обратился рабочий-монтажник строительства Саратовской ГЭС А. Терен-

Окончание на стр. 15.

БЕСЕДА С «КОРОЛЕМ КИТЧА», КАК НАЗЫВАЮТ ИЛЬЮ ГЛАЗУНОВА НЕКОТОРЫЕ КРИТИКИ

Мы воспитывались на комментариях. Не зная ничего о знаменитых политиках, писателях, музыкантах и художниках, мы читали о них нравоучительные статьи, лишь препятствующие настоящему знанию. Затем многое начало изменяться, и мы стали читать статьи, где оригинальный текст перемешивался с комментариями к этому тексту. Чем убедительнее был текст, тем комментарии были менее необходимыми, но читатели продолжали получать их, как просроченные рыбные консервы, выдаваемые в нагрузку к индийскому чаю. Совершенно естественно, что мы в «Огоньке» взяли курс на интервью без комментариев. Если человек интересен другим людям, вовсе не обязательно подгонять его высказывания под желанный для кого-то ответ; давайте послушаем и поразмыслим вместе с тем, кто нам интересен, чьи высказывания интересно комментировать самому, вдумываясь в мысли человека, живущего в фокусе общественного внимания. Так, мы дали возможность пообщаться с вами многим видным зарубежным политикам, народному художнику СССР Налбандяну, народным депутатам СССР Сахарову и Ельцину, народному артисту СССР Кобзону. Многие из вас в качестве следующего собеседника назвали народного художника СССР Глазунова. И мы постарались дать Илье Сергеевичу максимальную возможность для изложения своей позиции. Без комментариев...

Ведет беседу Владимир ГЛОТОВ

Сперва о предмете разговора.

Правительство вынесло решение о создании в Москве Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества.

Новые жильцы выбили многочисленные конторы из здания на улице Кирова, бывшей Мясницкой, где когда-то был ВХУТЕМАС, въехали в полуразрушенное помещение и повели прием студентов.

И сразу вспыхнули страсти — почему не Всесоюзная? Почему не в Ленинграде?

Но эффект детонации потряс художественную среду, когда молва разнесла весть: ректором Академии назначен Илья Глазунов.

Как? «Король китча» — во главе? — прокатился стон по салонам и кабинетам. Крутые авангардисты, независимые мастера живописи и соцреалисты сталинской пробы вздрогнули в едином порыве негодования.

Глазунов сам протянул руку, сам искал с нами встречи, сам попросил: помогите, не представлял масштабов бюрократической стены, друзья-патриоты, единомышленники в застольях отпали, коллеги-художники бойкотируют, финансисты жмутся, не дают денег, музеи полны эгоизма — одна пена, треп, зависть и демагогия, а дело — вот оно, Всероссийская... Я пришел в дом в Калашном переулке с чувством, в котором смешались стереотипы толпы, высокомерие радикала и пошлое любопытство — ну как у него там... Я сказал себе: оставь все, по совету Ходасевича, как шляпу, в прихожей. Попробуй поговорить с ним без суеты и тенденциозности, дай ему высказаться.

Он водил меня из комнаты в комнату, показывал картины, собрание икон, повторял много раз повторенное: «Вот это я подобрал на свалке, вот это везли сжигать, и я купил у алкоголика за пятерку, а меня обвиняют — награбил». Глазунов неуловимым движением включал Баха — для полноты восприятия. Отвлекался, убегал к гостям, перетекавшим, подобно бойкому ручейку, через его квартиру, возвращался. Непьющий, наливал гостям коньяк из трехлитровой бутыли, подаренной кавказским кооператором. Он, как десантник, броском сокращал между нами расстояние, изнемогая от собственного гостеприимства, и наконец — на третий или четвертый день — созрел сам для того, чтобы сосредоточенно засесть на кухне и перейти к серьезному разговору.

Мы беседовали иногда втроем, когда к нам подсаживался его друг П. П. Литвинский, проректор Академии. Говорили о буднях нового учебного заведения и о заведенной задолго до нас пластинке: патриотизм, масоны, проклятые авангардисты, Россия.

Россия стала нацией-донором,— так начал Глазунов.— И я считаю, справедливо говорят о геноциде русского народа, об уничтожении духовных и культурных ценностей и природных ресурсов России. Как свеча возвышается посреди водохранилища Клязьминская колокольня. Страшно подумать, что стало со страной... А художественная школа? Уничтожая школу как таковую, мы получаем дикарей.

Веласкеса понимают все. Репина, Сурикова, Караваджо, Рембрандта понимают все — по-своему, как все любят Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Баха — они писали для всех. А ныне подкладывается страшная идея мнимой элитарности, когда молодому человеку предлагают самовыражаться вместо постижения таинства мира и гармонии, как раньше говорили — божественного замысла мира. Я напомню слова великого Александра Бенуа: «Что есть русское искусство? Ответ русской души на таинство мира».

Понимание тайны мира — вот содержание искусства. Оно было у каждого народа свое. И мы любуемся созвездием цивилизаций, великих культур, ушедших с лика Земли, потому что в основе их лежит мораль и глубокое понимание добра и зла.

И так — у греков, у мусульман, у евреев, так и в христианской цивилизации, которая выросла из греко-римской культуры, с приматом духа над материей (именно в этом заслуга христианства). И то же самое — в эпоху великого Возрождения. Мы привыкли повторять: «Возрождение, Возрождение...» А что это такое? А это было возрождение красоты греко-римлян, их великого чувства гармонии жизни. И мир откликнулся явлением Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, ставших возродителями красоты, которая считалась греховной. Поражаешься мыслям Франциска Ассизского, его проповеди среди мрака средневековья: как можно отчуждаться (что, кстати, происходит сегодня) от красоты мира, от бега облаков, от шума леса, от травы в поле, трепещущей под ветром, от улыбки девушки в лунную ночь.

А ныне людям зачастую предлагают набор квадратов, абстракции, и мы улыбаемся,— я говорю свою точку зрения в наше время плюрализма,— к тем временам, когда Сезанн... нет, до него еще Маркс сформулировал, что история — это борьба классов. В одинаковой степени я могу сказать, что история и содружество классов. Ведь было бы великим хамством признать, что история семейной жизни есть лишь история великих склок и ссор. Семейная жизнь — единство, которое не может нарушиться семейными ссорами. Так, на мой взгляд, и между классами.

— Но вернемся к Сезанну... При чем тут Маркс?

— Недаром советские монографии начинаются с так называемого современного искусства Сезанна, который разделил весь трепещущий неповторимый мир, где нет песчинки одинаковой на берегу океана, нет ни одной одинаковой женской улыбки и листочка на дереве — на куб, конус и шар, как Маркс — на буржуа и пролетария. Как нам аукнулось это с «кулаками» — мы помним.

— Вы видите здесь генетическую связь?

— Абсолютно! Я считаю, это не случайно.

— Там — социально-экономическое, политическое мышление, тут — художественное...

— Давление на нашу цивилизацию шло оттуда, от марксовой идеи разделения. А потом начался кубизм, разлом. Это была общая тенденция уничтожения духовной цивилизации, противопоставления — почему и называется «левое искусство». На Страшном суде, между прочим, грешники сидят слева. Первыми левыми назвали себя, как известно, жирондисты, которые требовали: «Смерть, смерть...». Невинная кровь лилась таким же потоком, как у нас.

— Давайте уточним... У нас левыми издана считаются все прогрессисты, демократы...

— Это пропаганда!

— А правые — все консерваторы, бюрократы. Правда, мы говорим: «Наше дело правое...» Все смешалось.

— Можно выяснить, кто правый, а кто левый... Вот, например, такая вещь, как джинсики. Или посадить в школе вместе мальчиков и девочек. Это же культ бафомэта, древнего гермофродита, когда происходит смешение добра и зла. Меня осудят, но я против совместного обучения для мальчиков и девочек, когда они сидят вместе, а мальчики подпишывают девиц с роскошными формами и не слушают учителя. Раньше было продумано правильно. А ныне мужчины спокойно проходят мимо, когда девушки звероподобными движениями кладут асфальт. Это наш позор. И это могла родить только наша система мнимого равноправия, где развивается потребительство, хищничество. Все это — свидетельство отсутствия духовности, заложенной в глубоких корнях религии. Но мы ее так долго попирали.

И то, что мы сегодня имеем с республиками,— мы пожинаем неправильно понятый лозунг пролетарского интернационализма, когда каждая нация на деле не могла быть сама собой, русский не мог быть русским, таджик — таджиком, еврей — евреем, эстонец — эстонцем, а господствовала абстракция, воспеваемая со времен Сезанна и до золотых (для кого-то) 20-х годов.

Абстракция! Расстреливают миллионами, а вы рисуйте квадратики. Под вашим окном убивают, а вы рисуйте натюрморт на даче или портрет тещи, и не обращайте внимания, что льется кровь. Художник должен уйти от мира — это культ шизофрении, культ параноиков.

— Вы видите тут логику?

— То же происходит и сегодня: художник должен быть сумасшедшим, психом. Вот почему я был и остаюсь не согласен с концепцией фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Андрей Рублев был величайший философ, а не неврастеник в духе персонажей Антониони. При этом я за то, чтобы показывались фильмы Тарковского, и не говорю о таланте режиссера, речь идет об исторической концепции фильма. Мне, например, не нравится и образ Христа у немцев XVI века. Мне кажется, на русских иконах и у Эль Греко Христос отображен в соответствии с божественной сутью бога-человека. Я прошу извинить, что мне не нравится фильм Тарковского, как не нравится немецкий Христос — он мне кажется бюргером, а не сыном божьим. Но при этом я не отрицаю ни Тарковского, ни немецкую культуру, люблю Баха, очень люблю Вагнера, Рихарда Штрауса с его «Заратустрой».

— Я бы хотел в нашем разговоре вернуться к сюжету: «под окном льется кровь, а художник рисует квадратики». Это была форма самозащиты души? Не очень сильной, не очень честной... Чтобы оправдать и объяснить себе свое неучастие в бойне, которая идет за окном? Чтобы не вставать ни справа, ни слева от Христа? Если душа не очень сильная и боится выбора, тогда возникает теория, что художник и не должен отражать жизнь, не обязан жить реальной жизнью, а свободен от нее. У него — свой мир (кубики, квадратики). Абстракция! Может, действительно — все для того, чтобы оправдать свой уход?

— Нет, ухода от народа, как и обвинения в грязных душах, я бы не мог предъявить лидерам искусства 20-х годов. Я бы предъявил им другое обвинение: в нетерпимости и терроре.

— По-вашему, все сознательно? Никакой искусственной теории, оправдывающей их уход?

— Ваша гипотеза интересна. Но существуют документы о деятельности руководителей нашего искусства 20-х годов. Сегодня по-прежнему стремятся спрятать от глаз образы тех, кто определял жизнь искусства в то время. Ибо, когда я вижу, как Николай Пунин (был такой деятель) сфотографирован на фоне Академии художеств в пулеметных лентах,— это о многом мне говорит.

Они сами пришли, как пришел Маяковский и этот — Рюрик Ивнев. Они пришли и сказали: не будучи пролетарскими детишками, а будучи детьми интеллигентных родителей, мы — представители пролетариата! Навесили себе маузеры и стали предлагать Эрмитаж превратить в макаронную фабрику, «Петра Великого» Фальконе, как памятник царизму, уничтожить. Растрели — расстреливай — помните? А Рафаэля забыли вы? К стенке!

Надо знать факты. Я сам многому не верил. Но факты говорят именно о том, что всех, кто не был согласен с доктриной авангарда, передового коммунистического искусства (как тогда авангард назывался),— в расход, к стенке. По одной причине: идея Коминтерна, коммунизма должна завоевать весь мир.

И вот культура разрушена до основания. А тот, кто был никем,— никем и остался, тленом, каким и был. Ценности разрушены, а новый мир, как все констатируют сегодня, построить не удалось. Потому что сама идея была антибожественная, левая, направленная против Бога. Антимиры — как захлебываются наши поэты. Так вот, антимир-то и не получился. Потому что у нас есть один мир, одно небо, одно море, один лес. И я категорически настаиваю на том, что никто не толкал Малевича становиться комиссаром и называть себя «председателем космического пространства», а поэта Хлебникова — «председателем земного шара»!

— Но все-таки где природа ухода от красоты мира? Из-за страха увидеть под окном красногвардейца?

— Нет, они не были трусами, сами с наганами ходили, как подобало комиссарам тех времен.

— Но почему же люди перешли за





ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ. 1988 г.

СКЛАД. 1986 г.

черту человеческого? Ведь не о Троцком речь — о духовных пастырях, служителях муз...

— Почему появились в искусстве бесы? Я считаю, что силы добра и зла всегда были и существуют. Ответ дает великий Врубель в «Демоне». Демон — падший ангел, который возомнил себя равным Богу. И он разбился. Это сатанинская гордыня и ненависть к определенным принципам — к императивам добра. Потому и возникли бесы: Ставрогин, Верховенский... Это есть зло.

— Значит, в развитии духа нет прогресса? Тут вечные волны, подъемы и спады? В мире техники, технологии цивилизация движется как будто все время вверх, на подъем. А в области духа? Если, допустим, был Леонардо, то значит ли это, что мир души Леонардо будет превзойден? Или тут все иначе? Вечен дух добра, и вечен дух зла. Ничто не исчезает, лишь уступает место друг другу. И может быть, на 20-е годы нашего века пришелся скачок? Зло зашкалило? Или все-таки есть основания считать, что дело идет все хуже, происходит накопление зла и добро вытесняется?

— Я полагаю, тенденция такая ощутима. На ее реализацию брошены колоссальные силы. Причем финансовые, политические, пропагандистские. Это огромная акция. Если сжечь библиотеки, если запретить звучать великой музыке, если закрыть музеи и сознательно прививать то, что прививали в 20-е годы, когда мостили античными гипсами дворы Академии художеств и разрезали полотна картин, взрывали храмы, внушая людям, что идея Бога должна быть нетерпима и ненавистна,— если все это последовательно проводить, то добро отступит и восторжествует зло.

На мой взгляд, это и есть борьба духа и тупой материи, которая выражается символическими знаками.

— Нелюбимым вами «Квадратом» Малевича?

— Когда я был в Ленинграде, меня на огромной встрече спросили: «Правда ли, что вы звонили, чтобы закрыть выставку Малевича?» Я сказал: «Абсолютный бред, наглая клевета, я очень



Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

рад, что показали Малевича». А потом я задал вопрос: «Скажите, кто из присутствующих в зале, сам или с помощью линейки, не может нарисовать квадрат? Подымите руки». Раздался хохот.

Сыграть, как Ойстрах, станцевать, как Уланова,— это очень трудно. А нарисовать квадрат легко, это псевдодемократия. Еще Достоевский предупреждал: зло придет в мир в маске добра. И оно пришло — в маске демократии. Но опыт не удался. Полагали, что если ты рабочий, тебя надо кормить получше, а вот Блок умер в голоде, ему не дали второго паечка, дали рабочему, который должен был создавать новое искусство, но только тот ничего не смог сделать. Что говорить, если даже гений октябрьского переворота Ленин, когда ему показали скульптуру Маркса, сделанную пролетарскими левыми художниками, сказал: «А нельзя ли найти кого-нибудь из старых специалистов, да понадежнее?»

Если кто-то, например, вы захотите иметь портрет сына, а я предложу три квадратика, я буду рад, если вы мне не набьете морду. Вы скажете мне, что хотите увидеть его выражение, как слушает музыку, какие у него глаза — ведь это было самое страшное оружие, хранившееся под строгим контролем жрецов еще Древнего Египта: искусство высокого духовного реализма. А мне одна юная авангардистка говорит: «Мы не пишем картин, потому что они — ложь. Картина умерла». Между прочим, это говорили еще в 20-е годы, когда художников называли «картинщиками», «романщиками», если речь шла о литературном труде. Я сказал ей: «Милая, как же можно протестовать против романа или картины как формы?» Это как форма дома или форма дружбы. Можно протестовать, если дружба обращается предательством, роман дышит вымыслом, картина ложью, когда изображены социальные манекены, которые логично явились на свет в эпоху диктата, сменившую эпоху разрушения основ цивилизации. Сперва все развалили в чужом доме, разбили, а теперь, братцы, давайте хвалить нового хозяина, человека, как пишет «Огонек», в сапогах, товарища Сталина. А он захотел, чтобы искусство было понятно ему и народу. Соцреализм, как остроумно подметили художники,— это умение хвалить начальство в доступной для него форме. Еще французский мыслитель и великий писатель Камю обмолвился где-то: как же так? Реализм того, чего нет? Нет социализма, и вдруг реализм социализма... Нонсенс.

И вот появилась огромная галерея, как страшный туннель после полного распада, как путь к черному квадрату, к смерти — появилась ложь. Сталинское искусство — это ложь.

Но чтобы нарисовать аплодисменты, надо нарисовать руки. И я бы хотел отметить заслугу таких людей, как Исаак Бродский, ученик Репина, сохранивших петербургскую школу.

Бродский был прекрасным художником до революции. Прекрасным эпигоном Сомова был Филонов. Был средненький, но интересный художник Кандинский, писавший Москву златоглавую, пока наконец не заглянул, как говорят, в микроскоп и не родилось абстрактное искусство.

Все это я говорю к тому, что вопрос стоит сегодня ребром: как отнестись к стране, где ты живешь,— как к своей или как к чужой? Если как к чужой, я не осуждаю. Из чужого дома можно уйти, чтобы вернуться к себе домой. Но если ты относишься к России как к своей стране, то ты должен четко осознать, что она накануне гигантского апокалипсического перелома. И сегодня, как никогда, мы должны понять, что происходит с нами. И я не понимаю, почему и в литературе, и в журналистике, и на телевидении идет поиск правды, а за живописью оставлены «кубики и квадратики», наивная символика уличных знаков движения.

— И здесь, видимо, содержится ответ на мой вопрос, который я сформулировал так: в чем смысл возрождения Академии? Не чисто профессиональные задачи, а общечеловеческий, философский смысл — в чем? Почему именно возрождение Российской Академии, а не создание еще одного высшего художественного учебного заведения?

— Отвечу. Это возрождение духа высокой европейской культуры и ее части — русской культуры.

— Возрождение души, то есть бога?

— Вы абсолютно правы. Еще Достоевский сказал, что совесть есть отражение бытия божьего в душе человека.

— Не просто художественное заведение возрождается?

— Мировоззрение.

— Это что же — некий духовный орден?

— Художник сегодня миссионер. Он должен нести великие духовные ценности, как говорил митрополит Петр, друг Ивана Калиты: «Чтобы свеча не угасла». Дуют на свечи наших душ, дуют со всех сторон. И если мы возьмем самых великих религиозных художников, таких, как русский Нестеров, мы увидим трепет перед жизнью: встает солнце, роса, дерево, согнутое ветром, облако вечернее — и это чудо жизни мы потеряли, потому что строили чужой, металлический, выдуманный мир, который нельзя построить, как нельзя построить отношения сына и отца на том, что один доносит на другого,— это мертвая идея.

— Она символизирована у вас в картине в образе Павлика Морозова?

— Оставим его в покое. Но вот один писатель, большой поборник культуры, писавший, правда, статьи и про Сталина и считавший, что Москва — клоповник и ее надо уничтожить, тем не менее сказал однажды прекрасную вещь: если вдруг сын встал на колени и заглянул в замочную скважину с сексуальным интересом, наблюдая, как моется его мать, то ничего не произошло, но мир потерял человека, он стал животным. Есть табу!

Все это я связываю с идеей воспитания — будь то в рамках Академии художеств или вот, говорят, в Москве открылась гимназия — замечательно. Хотелось бы, чтобы было такое место, которое давало бы возможность молодым страждущим душам получать знания. И вернулись бы слова Федора Михайловича: по-русски широко образованный человек.

— Вы хотели бы этого?

— Да, но нам не помогают. Мы хотим, чтобы нам дали, например, возможность иметь, как сейчас говорят, базу, а попросту — дом или большую квартиру в Риме. Не случайно Академия художеств посылала своих воспитанников в Италию. Грандиозные впечатления, общение. Да, система преподавания была жесткой, но из Академии выходили совершенно разные люди. А сейчас? Все толкуют об индивидуальности и свободе самовыражения, и все — одинаковые.

Искусство прошло как бы три стадии. Старые мастера говорили: «Пиши, как я». Рубенс, Ван-Дейк, Леонардо брали учеников в свои мастерские, и это давало результаты. Сильные индивидуальности преодолевали учителя. А слабенькие? Лучше все-таки быть похожим на Леонардо, чем на Тютькина.

Второй этап — были созданы академии по всему миру, где культивировалась красота греков и Возрождения. И говорили: «Пиши, как они». Прекрасная идея: пиши, как они.

И третий этап — наш, современный — пиши, как чувствуешь, самовыражайся. Эта идея смертна, можно дойти до самых пределов нравственности и перешагнуть табу. Я хочу самовыразиться и... перерезать соседу бритвой горло. Нагадить в суп, когда он ест. Я так хочу, самовыражаюсь.

— Илья Сергеевич, возвратимся к будням. Вы имели, как художник, государственные заказы?

— Никогда, ни одного.

— Значит, делали что хотели?

— Я многого не сделал из того, что хотел. У меня 80 процентов времени уходит на борьбу за право быть самим собой. Я хочу написать ряд работ: все,

что проносится перед смертью, вся жизнь, все светлое, темное, страшное выразить в них. Верочка, дочка, спит, и над ней весь мир, апокалипсис, телята из чернобыльской зоны, рокеры...

И Давид Маркиш, и Владимир Солоухин, которых вы сегодня встретили у меня и которых я знаю одинаково давно, скажут, как я работал грузчиком, но не рисовал Михаила Ивановича Калинина с детьми — как мне предложили когда-то давным-давно в комбинате Союза художников. Я сказал: «Спасибо, я не потяну». Я разгружал вагоны и писал в четырех метрах нашей комнаты портреты, писал Джордано Бруно. «Кто дух зажег, кто дал мне легкость крыльев»...

Да, я не отрекаюсь: теперь меня приглашает король Швеции, и я этим горжусь. Раньше наши приглашали иностранных художников, а теперь приглашают наших. Я не хочу сказать, что я хороший портретист, но приглашают-то меня. Разве это позор?

И при этом у меня нет Государственной премии. У меня вообще нет ничего, что говорило бы о привилегиях. Вон врачиха требует: «Скажите **им**, чтобы **они** давали вам по три раза в день лекарства». Кому сказать? Ване с Верой — моим детям? Я один.

Повторяю: художник должен быть миссионером. Понимать, во имя чего он несет духовные ценности и через что. Я называю это — не свобода **от**, а свобода **для**. Для чего?!

Екатерина Великая сказала лучше всех: свобода — это когда никто не может меня заставить делать то, чего я не хочу. Ни даже неосознанная необходимость — ничто.

И вот это вызывает бешеную злобу. Но разве я виноват, что на мою выставку приходят три миллиона посетителей в месяц?

— А нет ли у вас ощущения, что против вас — интеллигенция?

— Ничего подобного!

— Вы не однажды говорили, что в интеллигенции звучит голос зависти. Я не говорю о художественной интеллигенции, в которой может говорить этот голос, а вот инженеры, педагоги, врачи, непрофессионалы в искусстве, не большие его знатоки, словом, люди, которые, тем не менее без него жить не могут. Нет ощущения, что этот народ вас не принимает?

— Даже во сне я не могу такого представить. Именно эти люди меня принимают. Это есть народ.

— Ну, а кто же не приемлет?

— В основном, художники и так называемые критики.

— Почему «так называемые»?

— Потому что это не критики вроде Александра Бенуа, даже Стасова (который был хотя и тенденциозен, но был огонь и полон желания утвердить, поднять художника). У наших же, у большинства, утрачено главное — доброжелательность. Как можно критиковать кого-то, заранее считая, что он сволочь. Это уже расправа! Поэтому я утверждаю, что у нас критика не существует.

Я, как и многие, испытал это на собственной шкуре. Американцы пишут: феномен Глазунова. Мне, конечно, неудобно это повторять, но вот за океаном хотят понять, почему люди идут на Глазунова, выясняют, кто идет. Есть книги отзывов с моих выставок в Союзе, изданные на Западе... А некоторые наши критики пишут: Глазунов — король китча, идол толпы.

— Ну, да, выражаете настроения, ловко ими манипулируете. Наш народ не поднялся выше уровня Глазунова, так?

— Да, некоторые так и пишут: народ жаждет водки и Глазунова.

А народ, между прочим, называет таких искусствоведов искусствовредами. Я задал нескольким один и тот же вопрос: для чего служит советский искусствовед, для чего он существует? Из шестерых четверо — воспитанники определенной школы, представители сталинской непогрешимой критики: этого расстрелять, этот китч, этот гений,— сказали: мы созданы, чтобы учить художников!

Ведь можно с ума сойти: импотент, дающий советы производителю.

Я помню в Ленинграде, в моем родном городе, выступает на встрече, где было 5 тысяч народу, один искусствовед из Русского музея. И чтобы меня смутить, говорит: «А чем вы объясняете, что Русский музей, если вы русский художник, не показывает ваших работ?» Мой ответ был лаконичным: потому, видимо, что Русский музей перестал быть русским.

— В некотором роде уровень вашего спора...

— Ладно! А кто такие искусствоведы? Что они сделали? Я знаю Бенуа, знаю гениального русского искусствоведа Маковского, изгнанного со своей родины, умершего в Париже, знаю Сергея Глаголя, знаю многих других, знаю Стасова, который помогал Рериху, мальчишке, делать первую его работу «Славяне», хотя Рерих ему не понравился.

Сейчас же нарушено главное, о чем мы говорим: плюрализм. И я могу сказать одно: история искусств, хотят ли этого советские искусствоведы или нет, не знает ни одного примера — поэта, писателя или художника, кроме XX века, который бы говорил: я работаю на элиту. Не работали на элиту ни Данте, ни Шекспир с его народным театром, ни Пушкин, ни Мусоргский, ни Бетховен — никто не работал. Каждое произведение искусства, я в этом глубоко убежден, рождается в таинстве духа художника и его познания тайны жизни, как рождается в тайне ребенок, но когда ребенок родился, он становится социальным явлением. Может стать ученым, журналистом, солдатом, художником, но родился-то он в тайне, и никто не может эту тайну разгадать. Тайну жизни.

А мне твердят: те, кто не попал в ГУМ,— идут на Глазунова. А на Крымском валу собирается конференция советских искусствоведов, куда пропускали по списку, и смысл был: пора кончать Глазунова!

Скажу еще. О каком бережном, нравственном отношении к художнику может идти речь, если стояли свободные залы на Крымском валу, другие залы, принадлежащие Союзу художников, но меня туда не пустили, и я платил по 1200 рублей в день за зал, чтобы устроить выставку.

— А говорят: для Глазунова — Манеж! Привилегия!

— Да никакой привилегии, никакой тайны нет.

Просто художники шарахаются от этого зала. Или же развешивают работы довольно жиденько, заполняя сектор, два. Я же могу заполнить один три Манежа. И это единственный зал, который не подчинен Союзу художников. Вот почему я выставлялся в нем.

— Но вернемся к выставке во Дворце молодежи...

— Да, пришла комментатор. Ведет съемку телевидение. И вдруг в программе «Время» я вижу себя, вижу, как разматываются рулоны, вижу пустой зал, вернее холл, мол, будет выставка. А работы новые, никто их еще не видел... Потом на телеэкране здание, снятое сверху, пустынная улица. А через несколько дней я смотрю телепередачу о выставке молодых авангардистов под названием «Лабиринт» (подчеркиваю, я за все направления, я рад, что сделали такую выставку), на которую, прошу меня извинить, приходило 30—60 человек, и вдруг, каково же было мое изумление, когда после недавнего истошного рассказа в «Правде» о том, как люди, стоявшие в очереди на мою выставку, вытоптали газоны и как я нанес ущерб городу, я вижу на экране мою очередь, моих зрителей, их украли у меня, пришив «Лабиринту». Монтаж! Но ведь это уже безобразие. Конечно, люди заметили, особенно те, кто ходил на мою выставку.

— Вы сказали, что сами платили за зал. Почему?

— Обычно советским художникам дается бесплатный зал, бесплатные каталоги, Союз художников закупает их работы. На эти закупки отпускается, если не ошибаюсь, миллионов семь или восемь.

Моя же выставка была хозрасчетной. И я единственный советский художник, который принес государству такую пользу, передав на благотворительные цели полтора миллиона рублей.

— Так, вы полагаете, дело — в зависти?

— Государственная экспертная комиссия однажды оценивала мою работу — «Андрея Рублева». Это только советская система могла изобрести подобное антигуманистическое мероприятие: художники покупают у художников. Это система уничтожения искусства.

— Как так — художники у художников?

— Так... Как если бы Суриков покупал, допустим, у Репина... Отклоняясь от главного сюжета, могу рассказать еще один небольшой сюжет, связанный с Микеланджело. Заказчик посчитал, что художник много с него взял, и пошел к заклятому врагу Микеланджело — к Леонардо и сказал: «Вы знаете, вот синьор Микеланджело много взял». А Леонардо да Винчи, который был действительно каким-то, сейчас смешно говорить, идейным противником, ну, может быть, конкурентом Микеланджело, отвечает: «Как?! Микеланджело взял,— я условно говорю,— только сто дукатов? Так это же шедевр, он бесценен!»

Я помню, сколько раз иностранные заказчики хотели у меня или у кого-то из художников купить работы и договаривались о ценах, и всякий раз художественный совет салона, который долгое время возглавляла М. А. Бакулева, заявлял: что вы? Это? Да это стоит всего 500 рублей... Чтобы девальвировать меня или другого художника в глазах заказчика.

Так вот, это чисто советское изобретение: художники покупают у художников.

— Они что же, себе покупают, в свою личную коллекцию?

— Если бы! Нет. Они просто оценивают. Говорят: «Эта картина замечательная, стоит миллион». Или судят: «Чепуха, ничего не стоит».

Так вот, дело с «Рублевым». ГЭК состоит из художников, искусствоведов, из директоров музеев (а это то же самое, что искусствоведы), словом, из мафии, ибо назначают странных людей, неизвестно, по каким причинам. Стою я, жду. Выходит работник Министерства культуры и говорит: «Илья Сергеевич, к сожалению, работа не прошла». Я говорю: «Как не прошла?»

— А вы на этой комиссии не присутствуете?

— Какое там?! Выгоняют. Ареопаг! Без художника можно говорить, что угодно — что он наркоман, китч, дерьмо.

Я спрашиваю: «А что же они сказали?»

«Там выступали некоторые художники и искусствоведы и сказали: Рублев не похож».

«Вы знаете,— сказал я,— мне очень приятно, что эти художники были знакомы с Рублевым и могут судить, похож он или нет».

И я вспомнил, как еще Фурцева в свое время кричала, что я не умею рисовать уши, и говорила: «Вас никогда не примут в Союз художников»,— и топала на меня ногами.

— Илья Сергеевич, но все-таки вы выставлялись в Манеже...

— Да, но каких это стоило нервов!

Открывалась моя выставка в Манеже, пришел некий Егорычев, по неизвестным причинам и неизвестно кем назначенный главным экспертом Министерства культуры СССР. Он должен был открыть мою выставку в Манеже. Причем, если сказать правду, министерство не хотело открывать выставку, но я пошел к товарищу Ельцину, тот, тогда первый секретарь МГК, надавил и выставку открыли.

Поразительно, как это бывает. Министерство обещает, а секретарша проговаривается: «А вы разве не знаете, что в июне — а у меня всегда выставки в июне, в июле, вне сезона,— вы разве не знаете, что в июне Манеж ставится на ремонт?»

«Как? — говорю.— Мне же обещали». Тогда я и пошел к товарищу Ельцину. Тот меня любезно принял, и я ему благодарен. Позвонил: что за безобразие, как так Манеж ставится на ремонт, я об этом первый раз слышу!

Так вот, выставка открылась. Пришел Егорычев, лет сорока такой, искусствовед. Не знаю, что он делал раньше и что делает теперь. Тогда был главным экспертом. Его слово — что закупать, за сколько и у кого. Понятно — за государственные денежки.

— Так кто же он?

— Никто. Вы знали такого? Но он — главный эксперт! Это купить, это не покупать... Эксперт!

Подошел он ко мне и говорит: «Моя совесть коммуниста протестует против семи ваших работ, и я партбилет ценю дороже, чем вашу выставку».

— Не может быть!

— У меня три свидетеля разговора, один сидит здесь — Петр Петрович Литвинский.

— Не художник определяет: хочу вот это выставить, хочу это?

— Теперь, по-моему, вешают черт знает что. Но если это не глубокий реализм. Теперь все изменилось, как мне говорят. Но по поводу меня и сейчас мало что меняется.

Итак, значит, Егорычев... Я спрашиваю: «А какие работы?» Он называет самые главные. «Прощание». Сорок пять фигур, я работал 20 лет. Дальше... «Склад», где туша висит на фоне разрушенной церкви. Говорит: это мы понимаем, это вы, что же, русский народ так хотите представить, ободранным? И вот машину из снега не могут вытолкнуть... Дальше — «Град Китеж». И еще несколько работ.

Я говорю: «Нет, я ничего не сниму». Уже был такой же случай, когда меня заставлял замминистра культуры, покойный Владимир Иванович Попов. Тогда Налбандян был приглашен неизвестно кем и почему быть куратором выставки и сказал: «За такие картины расстреливать, понимаешь, надо... Сталин в море крови! Кто так Ленина рисует?.. А это — Голда Меир: что за сионизм, понимаешь? А почему Христос выше всех?»

Я содрогался, когда читал его откровения у вас в «Огоньке». Так вот, Налбандян... И вызвали еще тогдашнего председателя МОСХа Игоря Попова, который сказал: «Вот так... Главный герой — Солженицын. Глазунов спекся!»

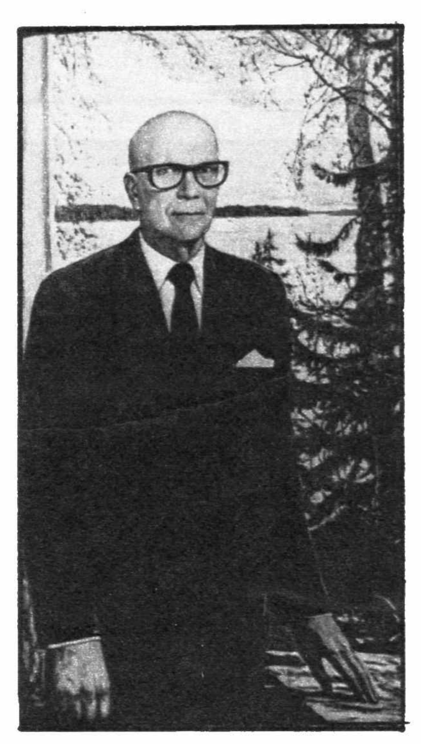
Они голосовали, между прочим, за мое выселение из Советского Союза. И сказали: «Снимайте картину». А я ту выставку ждал 10 лет. Или перепиши Солженицына на Брежнева... Тогда откроем...

— А может, надо было просто?..

— Не-е-ет... Не проходит. От меня «лапы» никто не будет брать. У меня идейные, убежденные враги. Это как Бушу подарить пачку «Мальборо», чтобы тот заключил пакт о мире...

Я говорю: «Не начинайте новую историю с «Мистерией». Вы же помните, чем кончилось? Снимут работы, и я снова не открою выставку».

А все знали, как это было некрасиво. У меня две недели назад трагически погибла жена. Петр Петрович скажет, как они саботировали, как сняли рабочих, как сказали, что за два дня не



Портрет Урхо КЕККОНЕНА



Портрет Л. И. БРЕЖНЕВА

Портрет Индиры ГАНДИ



успеют сделать экспозицию — били по живому, наотмашь.

И тогда я отвел его в сторону и сказал: «Послушай, ты, у тебя партбилет, у меня его никогда не было. Что ты сделал для нашей страны? Я, как могу, славлю ее своей работой. Я умирал на полях Вьетнама, в Чили, в Никарагуа, я перенес блокаду, я видел то, что тебе не снилось. И не тебе снимать мои работы».

Егорычев посмотрел на меня. «Да... Но выставку-то делает министерство. Союз-то художников отказался! — сказал он справедливо.— И мне поручили ее открыть. А я из-за вас партбилета не буду лишаться».

Тогда я нанес последний удар. В присутствии трех людей я сказал: «Я поставлю все на карту, и я добьюсь в этом же Манеже выставки закупленных тобой работ — у твоих друзей. Тебя разорвет народ на части и разобьет окна в министерстве, когда увидят, на что идут народные деньги!»

Он побледнел, вздрогнул и побежал. Спасибо товарищу Демичеву, который сказал: «У Глазунова горе, ну пусть он выставит, чего хочет, ничего же не изменится...» Это было начало перестройки.

— То, что вы рассказали о среде, в которой приходится жить и работать художнику,— это как раз кстати к нашему разговору о возрождении Российской Академии. Меня интересует, какова художественная атмосфера, благоприятна ли она для возрождения Академии. Как встретили художники саму идею?

— Полным молчанием. Художественный мир выжидает. Посмотрим, мол, что получится. Споткнется, а мы его тут и смахнем, другого поставим.

Среднее звено, бюрократическое, пройти сложнее всего. На самом верху как раз поддерживают, но мы сталкиваемся с самыми элементарными вещами. Николай Иванович Рыжков, например, подписал документ, мы приходим к чиновнику, а тот говорит: а что такое Рыжков? Сегодня Рыжков, а завтра его не будет (это было накануне Съезда народных депутатов). Мол, поиграем с вами. Люди тормозят как бы по привычке. Академия? А зачем это нужно? И на этом фоне зловещую роль играет активное недоброжелательство определенной части руководства Союзов художников СССР и РСФСР. Казалось бы, есть постановление правительства, сказано, что музеи из своих запасников должны передать для музея Академии часть работ, ибо что же за учебный институт без своего музея, это как завод без лаборатории,— так нет, не дают. Самим некуда девать, отсылают в далекие места копии со старых мастеров, в провинции ропщут: зачем, негде хранить? Но стоило возникнуть вопросу, что эти работы надо передать нам, как тут же протест: Глазунову? Не отдадим!

При чем тут Глазунов? Казалось бы, дают Российской Академии. Неужели не понимают, что дают студентам, нашим детям, своим же детям, которые к нам придут учиться. Нет, Глазунову не отдадим! Что это?

Самое позорное для моих коллег — художников — это то, что они занимают если не враждебную позицию, то выжидательную. Ждут, когда я споткнусь. И смотрят, что на этом можно выиграть.

Хотя, конечно, потихоньку доходит, что совершилось событие. Одни злятся: как это так, Глазунов всех обскакал. Ленинградцы выступают: почему не в Ленинграде, а в Москве? Простите, но кто мешал проявить инициативу? Другие твердят о разделении сфер влияния, начинают делить шкуру неубитого медведя. Мне казалось, что надо радоваться, что возникает еще один форпост искусства, школы, той же самой, кстати говоря, петербургской школы.

— Илья Сергеевич, вопрос о кадрах. Где брать педагогов? Как вы их отбираете, по каким критериям?

— Одному претенденту на преподавание архитектуры я задал вопрос: «Скажите, пожалуйста, вам нравится Корбюзье?» Отвечает: «Да и нет». Как это так — и да, и нет?

Потом пришел историк — наниматься в преподаватели общественных наук...

— Значит, с педагогами расправа, как с абитуриентами?

— О-о-о!

— И что же — Глазунов сам экзаменует обществоведов? Интересно, как вы, Илья Сергеевич, отбираете марксистов?

— Очень просто. Если он на все готовенький, значит, не педагог. А если начинает спорить, как наша гениальная одержимая Ермилова, когда я ей говорю: «А... Некрасова я не люблю!», а она мне: «Нет, вы не правы, и я вам докажу...» — тогда видно, что человек, фанатик, защитник своих идей, несет свой заряд. И я подумал: пусть Ермилова читает курс истории литературы и психологию творчества.

Прислали тут доктора наук. Говорит: «Я буду читать историю философии». Спрашиваю: «А как вы будете ее читать? Вы как относитесь к Бердяеву?» Отвечает: «Сложно». Я говорю: «А как? Вы согласны с Бердяевым, который говорил, что коммунизм детерминирован русской историей?» Отвечает: «Что-то не помню». Вытащил бумажку, начал со мной по бумажке. Я говорю: «Ну что вы по бумажке, я же не секретарь обкома? Представьте, что я студент первого курса и хочу задать вам вопрос: скажите, пожалуйста, что такое социализм и чем отличается государственный капитализм от монополистического? Еще скажите, что вам нравится в Соловьеве? Конкретнее! А в Шопенгауэре? И скажите, пожалуйста, бытие определяет сознание или сознание — бытие?».

Он на меня смотрит внимательно. И молчит. Я спрашиваю: «А как насчет кантовского учения о безусловном императиве, определяющем бытие? Или только рефлексы? Меня воспитали, и я буду жить по условным рефлексам? Это что ж, если в сортире милиционер подходил к стульчаку и свистел, и когда засвистел на улице, и человек, переходя улицу, осрамился, то получается, что бытие определяет сознание? Или все-таки сознание — бытие?»

Он говорит: «Вы такие вопросы мне задаете!» А как же? Я студент, я приехал учиться. Расскажите мне о Леонтьеве. Какой он, плохой, хороший? Расскажите мне о Чемберлене. О Ницше. Расскажите мне историю философии — это как: борьба за идеализм с материализмом или что-то другое? Отвечает: «Это не однозначно». Как не однозначно? «Это сложно». И вот так все. Я спросил его: скажите, пожалуйста, чем отличается русская архитектура от всех других? Говорит: «Гуманностью». А французская — не гуманна? Или итальянская? Их соборы — это что? Не гуманно?

— Ну и как вы будете поступать, все равно ведь обществоведы потребуются?

— Будем брать специалистов на конкретный курс, заключать контракт, причем приглашать специалистов со всего мира.

— И все это — путь к возрождению школы? Все ради борьбы с авангардизмом?

ЛИТВИНСКИЙ: Современный авангардизм сейчас делится на два вида: иван-гардизм и абрам-гардизм.

ГЛАЗУНОВ: Это как понять в переводе на русский язык? Иван-дурак и абрам-дурак? Я не вижу разницы, кто нарисовал квадрат — негр или русский. А вот «Аппассионата» — это Бетховен, это я знаю. Китаец так не напишет.

Объездив весь мир, побывав в Европе, мы с П. П. Литвинским услышали в Париже от Арно де Трюва, президента французской Академии художеств, слова о полной анархии, о конце великой европейской школы. А в Италии, в Академии Брера, я увидел класс, сидит итальянец-натурщик, прекрасный, как Цезарь, и студенты рисуют — кто мизинец, кто ухо. Что за безобразие? А мне отвечают: «Мы не давим на студентов, у нас свобода, самовыражение». Кто что хочет, то и рисует. Я говорю: нарисовать три волоска или, там, ноготь — это еще не значит уметь нарисовать фигуру. Нет, говорят, у нас свобода.

Была великая школа итальянская. И рисовальщики были, как у нас Егоров, профессор, друг Иванова, который славился тем, что мог, начав с мизинца, нарисовать всю фигуру. И все — ах! А теперь — свобода. Ягодицу рисует мохнатую, а фигуру не может. Вот это и есть полный распад. А рядом висят гениальные творения.

— Интеллигенция там, за «бугром», это ощущает?

— Не все. Но кто-то ощущает. И такому безобразию своих детей учить не будет. Когда попадаешь к богатому человеку, к аристократу, видишь великолепную мебель, полотна, ощущение — XVII век. Или возьмите самые дорогие рестораны, гостиницы — старые. Никто в эти современные «финские бани» не поселится. Да и Пикассо себе замок купил. Это только для дураков — авангард. Да, если по чести, любому из нас сказать, где бы вы захотели жить: в новостройке или, скажем, в Сен-Жермен де Пре, где встречались Д'Артаньян с мушкетерами, где Бальзак бывал, а позже, скажем, Хемингуэй? Выберут Сен-Жермен де Пре. Я пока не встречал идиота, который сказал бы: я хочу на окраине, в новостройке.

— Это не только наш процесс?

— Это мировой процесс. И в этом смысле мы делаем мировое дело.

Я видел, как делают копии во Франции в Лувре или в Прадо в Испании. Студенты наши хохотали. Начинают синей краской. Кого? Рембрандта! Какая синяя краска? Это все равно, что я сейчас буду делать будильник: возьму консервную банку, отломаю булавку, воткну. Бред! Но этот бред стал нормой. Потому умные люди, такие, как, повторяю, Арно де Трюв, и говорят: «Анархия, все кончено...» В Европе они уже не смогут возродить, потому что не умеют. А у нас, как ни странно, в залитой кровью, в нищей, раздавленной стране еще теплится пламя. И даже наши эти, как Петр Петрович говорит, абрам-гардисты и иван-гардисты, приезжая туда, в Европу, в Америку, лучше их. Потому что у нас все-таки есть тяга к духовности. И какие бы мы ни были, мы все-таки единственная страна, где стоят в очереди за книгами. Я не видел такого нигде. Сейчас объяви — Пушкин, Достоевский. И разнесут магазин. И так же с выставками. И в этот момент в протянутую руку класть камень? Это преступление.

Человек, который не может положить в руку кусок хлеба, потому что он его не вырастил,— это и есть, с моей точки зрения, модернист.

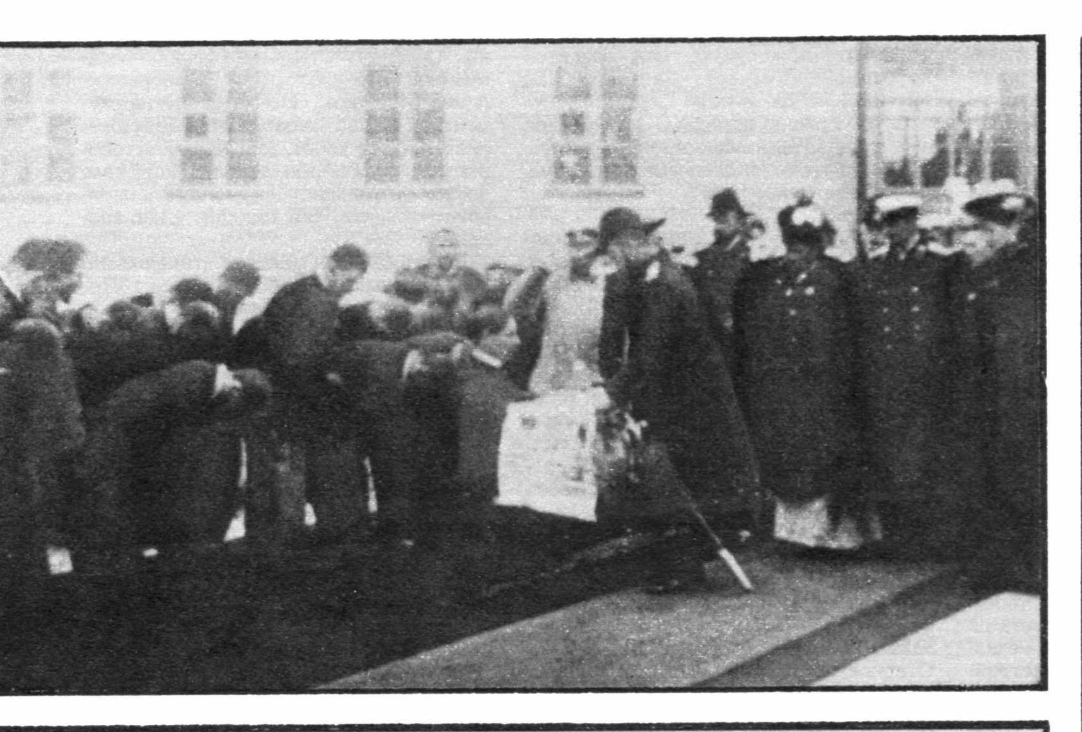
Его просят: расскажи о жизни. Ему говорят: я так же думаю, как ты, потому что ты моя часть, моя плоть. А он — я элита! Я на тебя плевал. Я три линии провел на холсте — не понимаешь? Через сто лет меня поймут.

Я вспоминаю Гарсия Лорку, которого, признаться, не очень люблю по ряду обстоятельств, но который прекрасно сказал: как эгоистичны те художники, которые говорят, что они работают на будущее. Во-первых, они отнимают работу у художников, которые будут жить через сто лет, а во-вторых, лишают современников радости современного им искусства.

И вдруг кто-то хочет положить в протянутую руку хлеб. Ему кричат: китч, сволочь, убий!

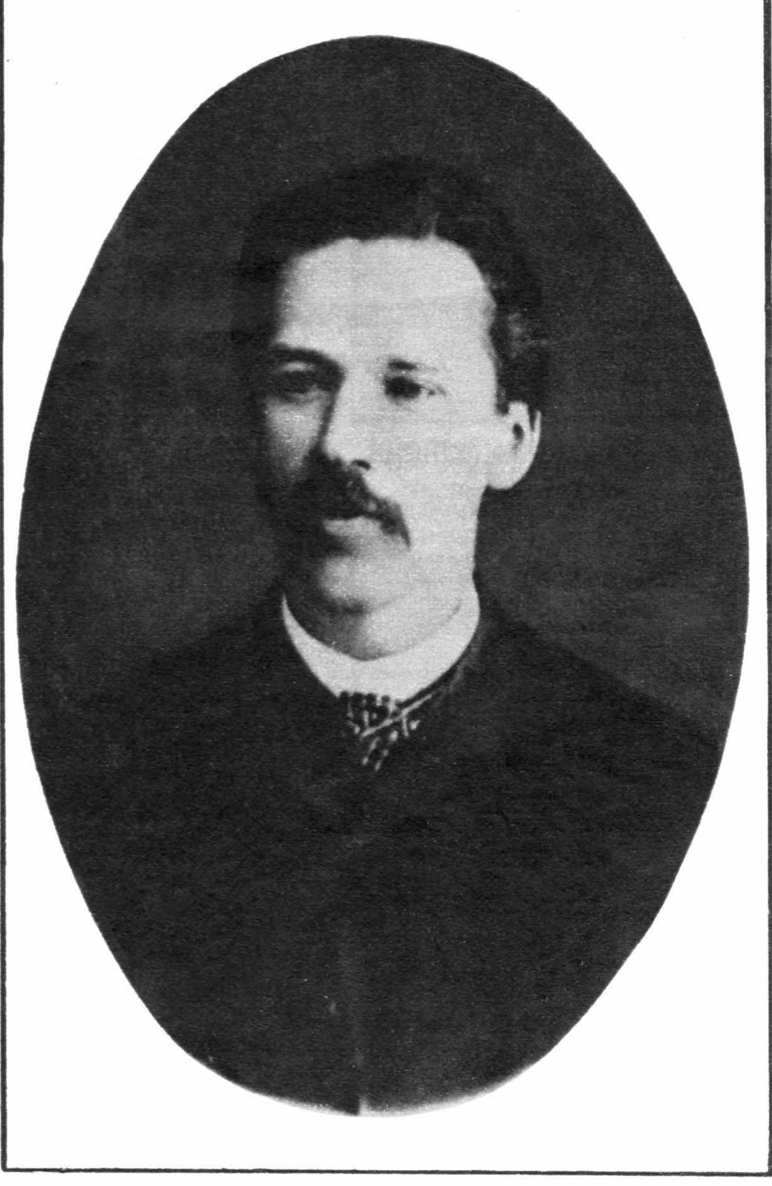
Мы же хотим, чтобы таких художников были тысячи.

Люди хотят научиться так рисовать, а их не учат. Это и есть преступление. И это — бесчеловечно.





ЗУБАТ







ОВЩИНА, или ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

150 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ

Юрий ГАВРИЛОВ



В феврале 1902 года на фабрике Товарищества шелковой мануфактуры в Москве началась забастовка, событие для того времени обычное, заурядное. Не было ничего странного и в том, что в ход забастовки с самого начала вмешалась полиция, которая рекомендовала владельцам Товарищества шелковой мануфактуры вступить в переговоры с представителями рабочего совета. Предприниматели отказались обсуждать с рабочими требования последних. Пожелания московского обер-полицмейстера Д. Ф. Трепова очень быстро обратились в жесткое давление: начать переговоры с членами совета.

Рабочие, ощутившие серьезную поддержку высшей полицейской власти, явились на прием к председателю Товарищества Юлию Гужону, но упрямый француз отказался их принять, так как в России, по его словам, тред-юнионы не были дозволены.

В ответ на справедливое замечание Ю. Гужона начальник московского охранного отделения полковник С. В. Зубатов разрешил сборы в пользу участников стачки, что прежде само по себе составляло преступление и строго преследовалось полицией.

Трепов, не привыкший, чтобы ему отказывали, да к тому же не раз добивавшийся от фабрикантов незначительных уступок в пользу рабочих, кинулся за помощью к «хозяину» Москвы, генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, дяде царя Николая II. Трепов потребовал выслать французского подданного Ю. Гужона из России.

Промышленники, перепуганные полицейским покровительством забастовщикам, обратились с ходатайством к министру финансов С. Ю. Витте, указывая на крайнюю опасность объединения в союзы и советы «принадлежащих к различным фабрикам рабочих».

Промышленники правильно понимали дело: полиция фактически пошла на создание профессиональных союзов, в Российской империи запрещенных.

Намерение Трепова выслать Гужона переполошило чиновников Министерства иностранных дел, и предприниматель остался в Москве.

Витте запросил министра внутренних дел Сипягина: «С чьего разрешения и в силу каких законодательных постановлений организовались в Москве «союзы рабочих» и состоящие при них советы?»

Из ответа Трепова стало ясно, что никаких законодательных постановлений относительно рабочих союзов не существовало, что единственным разрешением является утвержденный 14 февраля 1902 года Министерством внутренних дел «Устав Московского общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве», а инициатором, и притом чрезвычайно деятельным, новых форм рабочего движения еще с 1900 года стал полковник Зубатов.

Сергей Васильевич Зубатов в истории российских охранительных учреждений фигура примечательная и недюжинная.

В юности Зубатов был социалистом, участвовал в нелегальном движении и был исключен из гимназии в 1882 году за неблагонадежность.

Зубатов знал революционное движение изнутри; как и многих, его больно ушибло предательство Дегаева, фактического руководителя «Народной воли» после 1 марта 1881 года. Зубатов разочаровался в революции и революционерах и пришел на службу в полицию. В 1896 году он был назначен начальником московского охранного отделения.

Можно сказать, что до Зубатова политический сыск в России находился в первобытном состоянии — как еще Леонтий Васильевич Дубельт распорядился, так и стерегли империю.

Зубатов ввел картотеку, где фиксировались все поступки и события в жизни лиц, находящихся под наблюдением полиции, обязательное фотографирование в трех ракурсах, но особенное внимание уделял глава московской охранки «внутреннему наблюдению» — секретным сотрудникам, «сексотам» (живет мерзкое словечко, пущенное в мир Зубатовым, по сей день живет). Агентура Зубатова была законспирирована самым тщательным образом; среди зубатовских агентов было много людей интеллигентных, работавших в революционном движении, хорошо разбиравшихся в программах и особенностях организационной структуры различных нелегальных кружков и партий.

При помощи сексотов Зубатову удалось разгромить «Рабочий союз» (общемосковскую социал-демократическую организацию), щупальца московской охранки протянулись в Киев, Харьков, Одессу, под носом у Департамента полиции Зубатов производил аресты в Петербурге.

Зубатовские «изъятия» принципиально отличались от повальных арестов, чинимых другими охранными отделениями, когда хватали правых и виноватых и скорее множили число людей, недовольных правительством, нежели сокращали его.

Зубатов брал с поличным и обрушивал на арестованного не только вещдоки, но и изощренную тактику допроса. Один из тех, кого безуспешно улавливал в свои сети Сергей Васильевич.



Сергей Васильевич Зубатов. 90-е годы.

Зубатовцы присягают Николаю II. 1902 г.

Группа рабочих-инициаторов.

Манифестация зубатовцев в Кремле. В центре великий князь Сергей Александрович. 19 февраля 1902 г.

Рабочие с венками, купленными по подписке.

(Фотографии подобраны сотрудницей Музея революции СССР Лифановой С. В.)

вспоминал: «Его допросы носили своеобразный характер: Зубатов вел беседы на самые разнообразные темы в непринужденном тоне и увлекал искренней беседой собеседников. Многим арестованным казалось, что это просто столкновение двух мировоззрений, и они, излагая свою точку зрения, тем самым выдавали часто все, что касалось их личной и революционной деятельности. Он давал арестованным читать книги, газеты и журналы, ...отпускал арестованных под честное слово в город, предлагал деньги взаймы, заводил дружескую переписку».

С течением времени все обходительнее становился Зубатов с рабочими, он стремился противопоставить пролетариат интеллигенции, уверял «фабричных», что «образованные» стремятся, используя рабочее движение, захватить власть для осуществления своих узких групповых целей. Чтобы вызвать недоверие к лидерам-интеллигентам, Зубатов предоставлял арестованным рабочим возможность знакомиться с «излишне откровенными» разглагольствованиями иных интеллигентов во время его задушевных бесед с доверчивыми людьми.

Но, несмотря на успехи сыска, на рост отборной агентуры, Зубатов не чувствовал полного удовлетворения. Он, может быть, единственный из крупных полицейских начальников понимал, что с появлением социал-демократии революционное движение пошло по новому руслу и для того, чтобы построить надежную плотину, недостаточно увеличивать число арестов — нужна правительственная программа решения рабочего вопроса.

Зубатов писал: «Пока революционер проповедует чистый социализм, с ним можно справиться одними репрессивными мерами, но когда он начинает эксплуатировать мелкие недочеты существующего законного порядка, одних репрессивных мер мало, а надлежит немедля вырвать из-под его ног самую почву, ...урегулировать рабочее движение, дифференцировать различные его проявления и определить, с чем нужно бороться и что нужно только направлять».

От имени правительства руководить рабочим движением, по Зубатову, должна была полиция: она и ближе многих к пролетариям, и лучше чиновников других ведомств знает нужды фабричных, и предпринимателей заставит пойти на уступки.

Надо сказать, что Сергей Васильевич пороха не изобретал; идею превращения рабочего движения в карманное, ручное, на помочах у чиновников, у государственного аппарата пытался осуществить Наполеон III во Франции в 60-х годах прошлого века; эта идея привлекала Бисмарка, но никогда и нигде практическое воплощение в жизнь полицейского социализма не зашло так далеко, как в России — стране крайностей.

К осени 1900 года Зубатов отшлифовал свою программу: «1) Идеологи — всегдашние эксплуататоры масс на почве их нужды и бедности, их надо изловлять и, 2) борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживая массы путем своевременного и неустанного правительственного улучшения их положения на почве мелких нужд и требований (большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но обязательно это должно делаться самим правительством и притом неустанно и без задержки».

Важнейшим звеном в осуществлении своей программы Зубатов считал легализацию профессиональных союзов фабричных и заводских рабочих, попечительство над ними со стороны полиции и признание забастовок допустимым способом экономической борьбы между рабочими и фабрикантами, «раз в них нет ни уголовщины, ни явной политики».

В своих планах Зубатов, безусловно, учитывал, что политическое сознание рабочего класса крестьянской по преимуществу страны находится в младенческой стадии развития, не сбрасывал он со счета и атавистического страха перед интеллигентом, недоверия класса полуграмотного к студенту или выпускнику университета (барин своей выгоды ищет) и, конечно, веры во всемогущего доброго царя.

По отношению к предпринимателям Зубатов предполагал держаться жесткой политики, так как видел в заводчиках группу людей своекорыстных, ради сиюминутной выгоды готовых пожертвовать общественным спокойствием, людей ограниченных, неспособных усвоить простую истину: чтобы сохранить большую часть, надо быть готовым отдать меньшую. Как это ни странно, Зубатов искренне верил в надклассовую природу самодержавия, в его возможности установить и поддерживать социальный мир.

Зубатов видел поползновения буржуазии к политической власти и не сочувствовал им, презрительно окрестив фабрикантов «самодержавными аршинниками».

Предприниматели платили Зубатову в ответ честной монетой ненависти: «социалист и революционер» — другого прозвания начальнику столичной охранки среди московских толстосумов не было.

В начале 1901 года группа «рабочих-инициаторов» обратилась с прошением об открытии «Московского общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве». Не дожидаясь утверждения устава, «рабочие-инициаторы» развернули многообразную деятельность: с мая 1901 года начались чтения и лекции, сначала в Обществе народных развлечений, затем в Историческом музее; число слушателей росло, к рабочим пришли видные ученые, профессора Московского университета, юристы. Фабричный люд оказался восприимчивым к правовой и экономической науке: решено было организовать потребительское общество, в считанные недели число пайщиков перевалило за две тысячи, в кассе лежало более пяти тысяч рублей.

Осенью 1901 года Исторический музей стал тесен для собраний, были дозволены районные совещания в народных домах, трактирах, пивных одиннадцати городских частей. Каждое из таких совещаний привлекало до полутысячи рабочих.

Содержание лекций и чтений, их тематика утверждались обер-полицмейстером, но в более широкий круг вопросов он не входил; районные совещания быстро обросли «дочерними предприятиями» — семейно-танцевальными вечерами с буфетом, литературно-вокальными и литературно-музыкальными программами, просмотрами «туманных картин» и общеобразовательными чтениями и семинарами.

В октябре 1901 года был создан «Совет рабочих механического производства г. Москвы» из 17 депутатов, задачей которого было «обсуждать все вопросы... вообще рабочих механического производства». К числу этих вопросов относились заработная плата, штрафы, продолжительность рабочего дня, сверхурочные работы, санитарное состояние предприятий и общежитий, условия труда женщин и детей...

Участники районных совещаний надеялись на быстрое улучшение своего положения, а Зубатов докладывал в Департамент полиции: «Обладая советом, мы располагаем фокусом ото всей рабочей массы и благодаря рычагу можем вертеть всею громадою».

Демонстрацией несомненных успехов зубатовской организации в первопрестольной стала манифестация рабочих к памятнику Александру II в Кремле 19 февраля 1902 года, в годовщину освобождения крестьян.

Еще не рассвело, когда тысячи людей с рабочих окраин направились в Кремль. В восемь часов утра у памятника убитому императору собрались высшая московская администрация, духовенство, представители от всех сословных организаций, гласные городской Думы и 60 тысяч рабочих из Москвы и ближних пригородов.

Самая большая, Ивановская площадь Кремля не вместила всех манифестантов. Торжественно гудели тяжелые колокола Ивана Великого и Филаретовой звонницы, празднично вторили им колокола многочисленных церквей. Как только завершилось богослужение, оркестр рабочих мастерских Курской железной дороги исполнил «Коль славен», а затем под звуки «Боже, царя храни» рабочие возложили к подножию памятника два великолепных и очень дорогих венка, которые были куплены в складчину по подписке, пущенной по московским фабрикам и заводам.

После молебствия о здравии Николая II толпа кричала многократное «ура», бросала в воздух тысячи шапок. Молебствие о здравии царствующего императора рабочие выслушали в глубоком молчании, обнажив головы и стоя на коленях.

Генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович был растроган до слез. Он поблагодарил рабочих за столь яркое и искреннее выражение верноподданнических чувств, ответную речь держал рабочий Ф. А. Слепов, признанный идеолог зубатовского движения, чьи выступления в печати хвалил Николай II.

Манифестация и демонстрация патриотических настроений были организованы «Советом рабочих механических производств», что произвело большое и сложное впечатление на Западную Европу. Газеты республиканской Франции признавали, что уважение к монархическому режиму в России имеет глубокие корни и среди фабричных рабочих.

Еще значительнее, чем в Москве, были достижения полицейских чинов — единомышленников Зубатова в черте оседлости среди еврейского населения. Сам Зубатов и его соратники объясняли стеснения евреев извращением царской воли администраторами-антисемитами. Среди еврейского населения Белоруссии и Литвы сохранялась цеховая средневековая организация — ферейны. Летом 1901 года на сторону Зубатова перешли самые мощные ферейны — слесари, жестянщики, столяры и каменщики, за ними потянулись переплетчики, щеточники и другие. Зубатовцы вышли из еврейской социал-демократической организации «Бунд» и начали создавать «Еврейскую независимую рабочую партию», которую всячески опекал начальник Минского жандармского управления полковник Н. Васильев, идейный последователь Зубатова.

Ячейки «Независимой партии» появились в Киеве, Екатеринославе, Вильно; в Одессе к «независимцам» примкнуло более двух тысяч рабочих разных национальностей.

В июне 1902 года под руководством одного из лидеров «независимцев», Г. Шаевича, в Одессе началась забастовка, которая, перекидываясь с предприятия на предприятие, продолжалась почти два месяца. Удержать стачку в рамках чисто экономических требований Шаевичу не удалось, и это обстоятельство вновь ребром поставило давний вопрос, который Трепов задавал Зубатову, когда задумывался полицейский социализм: «Не падет ли эта организация на голову самого правительства?» Поколебавшись, Трепов успокоил себя: «Ну, да штыков у нас хватит». Трепов был прост, это он на похоронах Александра III скомандовал своему эскадрону: «Голову направо! Смотри веселей!» — но и Трепов осенью 1905 года засомневался, что с движением масс можно справиться штыками и боевыми залпами...

Российские социал-демократы всех мастей, от экономистов до твердых искровцев, видели в Зубатове опасного конкурента. Ленин расценивал зубатовщину как зловредную полицейскую уловку. Он писал: «Обещание более или менее широких реформ, действительная готовность осуществить крохотную частичку обещанного и требование за это отказаться от борьбы политической,— вот в чем суть зубатовщины».

Карьера Зубатова оборвалась на первый взгляд внезапно.

Руководители Департамента полиции Зволянский и сменивший его Лопухин сочувствовали направлению мыслей Зубатова, но никакого практического содействия ему не оказывали. Плеве, назначенный министром внутренних дел после убийства Сипягина, относился к затее Зубатова двойственно, как, впрочем, и ко всему на свете. Царь Николай был обеспокоен эсерами-бомбистами, он не считал рабочий вопрос важным для России. Самый влиятельный министр царского двора, Витте, решительно взял сторону заводчиков в их распре с Зубатовым.

Плеве перевел Зубатова в Петербург, поставил во главе Особого отдела Департамента полиции, давал Зубатову самые лестные аттестации: «вся полицейская часть, т. е. полицейское спокойствие государства, в руках Зубатова, на которого можно положиться».

Но одесские события, ставшие важным эпизодом всеобщей стачки на юге России, испугали Плеве. В это время Зубатов решается на рискованный и проигрышный ход, он пытается сместить Плеве руками Витте и князя В. Мещерского, реакционного журналиста и доверенного человека Николая II. Мещерский донес Плеве об интриге Зубатова, и 19 августа министр внутренних дел лично предъявил виднейшему полицейскому руководителю империи смехотворное обвинение в разглашении государственной тайны и отставил его от службы.

Зубатов перебрался в Москву, где еще пытался спасти свое детище. На сей раз Плеве уличил Зубатова в политической деятельности с использованием аппарата полиции и выслал его во Владимир. Зубатову было строжайше запрещено заниматься какой-либо общественной деятельностью.

После того как Плеве был убит (Зубатов, по его словам, несколько раз спасал Плеве от гибели), с Зубатова были сняты все обвинения и ему было предложено вернуться на службу. Он отказался и остался доживать век во Владимире. С ужасом и отчаянием встретил Зубатов известие о 9 января — весь капитал доверия правительству и царю, который накопил Сергей Васильевич, Николай II спустил за несколько часов безумной бойни. В 1917 году после отречения царя от престола Зубатов покончил жизнь самоубийством, оставив интересные записки и воспоминания.

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

Окончание.
Начало на стр. 7.

тьев и предложил рукопись статьи «Ноль целых шесть десятых». Участник Отечественной войны, опытный, высококвалифицированный строитель не раз задумывался над причинами предкризисных явлений в нашей экономике. То ли в 1969-м, то ли в 1970 году он выступил со статьей в «Новом мире». Новую его статью «Новый мир» не взял: не знаю, по какой причине, может быть, потому, что ситуация стала уже критической, а может быть, портфель был забит, но Терентьев пришел в «Октябрь». Прочитав статью, мы стали чесать в затылках. Не имею возможности за недостатком места ее пересказывать или цитировать, скажу лишь, что она с совершенно беспрецедентной для того времени резкостью и прямотой ставила вопрос об отставании нашей индустрии, и в частности строительства, о порочности системы управления производством, отсутствии технического прогресса, неэффективности материальных и моральных стимулов, социалистического соревнования вообще, о разрыве между словом и делом, показухе, повальном пьянстве, слабости подготовки и низкой отдаче инженерных кадров — словом, о застое. Сомнения по поводу публикации статьи, чего греха таить, были.

И месяца не прошло после публикации статьи Терентьева, как разразился скандал. Кто-то показал статью самому Суслову. Характерно не то, что статья его возмутила: это нетрудно было предвидеть. Как я теперь думаю, характерно было то, что он не поверил в авторство рабочего...

Снова я остался в редакции «на хозяйстве», когда позвонил В. Ф. Шауро. Высокая фигура многолетнего заведующего Отделом культуры была мне хорошо знакома: он постоянно сидел в президиумах различных писательских съездов, пленумов, активов. А вот голос его я услышал впервые. В литературных кулуарах его даже называли «великий немой», так как он ни разу нигде не выступил. Начал Василий Филимонович издалека. Поинтересовался творческой атмосферой в коллективе, повесткой партийных собраний, количеством писем. А потом спросил, какой из недавних материалов вызвал наибольшую почту. Услышав ответ: «Дневник комиссара Дубинина», Шауро уже прямо спросил: «А по статье за подписью Терентьева есть отклики?» Довольно деликатно, без нажима, но настойчиво добивался признания, кто скрывается за псевдонимом рабочего. Объяснения, что Терентьев — абсолютно реальное лицо, человек, имеющий славную фронтовую и трудовую биографию, к тому же не первый раз выступающий в печати, его, похоже, не очень убедили. «Ну а кто же все-таки эту статью обрабатывал, ведь не мог же рабочий так написать...»,— настаивал он. Позднее сотрудница бухгалтерии рассказала мне, что у нее выясняли, кому выписан гонорар за статью Терентьева.

Чем кончилась эта история? Естественно, оргвыводами, которые были сделаны после рассмотрения статьи А. Терентьева на секретариате СП РСФСР. Единственное, чего удалось добиться,— это чтобы зам. главного редактора Н. А. Горбачев и зав. отделом публицистики и очерка В. А. Ильин были не сняты, а отпущены «на творческую работу». Так что сегодняшняя карательная практика секретариата СП РСФСР имеет давние традиции...

Чем глубже разбираемся мы в тяжком наследии, оставленном сталинщиной и брежневщиной, тем яснее понимаем, что одной из страшнейших наших бед оказалось катастрофическое снижение интеллектуального потенциала общества, широчайшее поветрие вопиющей некомпетентности. Естественно, что, став общественным пороком, некомпетентность все же по-разному проявлялась в разных сферах. Скажем, некомпетентных летчиков было значительно меньше, чем некомпетентных инженеров, а некомпетентных хирургов — значительно меньше, чем некомпетентных терапевтов. Коротко говоря, те области профессиональной деятельности, где результаты проявляются немедленно или поддаются прямому измерению, некомпетентности, за редкими исключениями, не терпели. Причем дело тут не в степени ответственности профессии и ее значимости для общества, а только, повторю, в возможности объективного измерения результатов работы. Хирург, погубивший человеческую жизнь, а то и несколько, от работы отстранялся, а судья — нет, потому что доказать ошибку хирурга легче, чем полную юридическую беспомощность судьи. А уж в сфере идеологии, культуры критерии доступны лишь высокопрофессиональной оценке. Но если «оценщики» — непрофессионалы, то мажорной музыке всегда отдается предпочтение перед минорной, сюжетной многофигурной картине — перед натюрмортом, кинофильму с предсказуемым финалом и заключительным монологом положительного героя — перед «открытой» концовкой... Вообще — «что» всегда важнее, чем «как», пусть даже эмоциональное переживание, без которого немыслимо восприятие искусства, не возникает вовсе...

Примерно с середины двадцатых годов в нашей стране стало лавинообразно множиться число людей, которые на вопрос о профессии могли с полным основанием отвечать: «руководящий работник».

Да, конечно, нельзя забывать о том времени, когда дореволюционные государственный и хозяйственный аппараты были сломаны, большая часть обслуживавшего эти аппараты персонала либо боролась против нового строя, либо саботировала его, либо пассивно и недоверчиво пыталась к нему приспособиться. Но вынужденная переброска бывших балтийских матросов и путиловских рабочих из банка в губнаробраз, оттуда в губчека, затем в сахарный трест или в наркомвнешторг, хотя и породила в свое время немало злых анекдотов и насмешек над «красными директорами», вовсе не была ни истоком, ни обязательной предпосылкой последующей массовой некомпетентности. Во-первых, большинство тогдашних выдвижений и перебросок совершалось исходя из яркости, неординарности, самобытности личности. Во-вторых, «красные директора», чувствуя себя уполномоченными партии, отстаивая классовую линию, как они ее понимали, отнюдь не считали себя непогрешимыми в том деле, на которое поставлены. И, в-третьих, все-таки в сферу культуры тогда, в тяжелейшие годы, старались направлять наиболее образованных, интеллигентных работников большевистской партии. Лишь в тридцатые годы, когда интеллигентность, а стало быть, самостоятельность и критичность мышления, стали рассматриваться как потенциальная угроза обществу, в соответствии с потребностями бюрократического социализма начал складываться тип функционера культурной сферы, главными особенностями которого стали безликость и серость, некомпетентность, недоверие и нескрываемая недоброжелательность к руководимым, от которых он всегда ощущал социально-политическую отъединенность, и, что самое поразительное, истовая убежденность в нехитрой простоте и полной доступности так называемых «мук творчества». Эта наивная, но твердая вера в то, что «не боги горшки обжигают», подкрепляемая нередкими контактами с теми и сознательной ориентацией на тех, кто действительно обжигал не более, чем горшки, не только не позволяла им понять всю сложность подлинно творческой личности, но и внушала щекочущую самолюбие иллюзию: «И я бы мог...»

Мне приходилось сталкиваться с мнением, что профессиональная некомпетентность вполне может сочетаться — во всяком случае в гуманитарной сфере — с верностью идейной позиции, основанной на классовом чутье. Что ж, видимо, в те времена, когда все делились на красных и белых, на богатых и бедных, классовое чутье могло служить компасом. Чапаев понятия не имел о том, что существовало несколько Интернационалов, ему важно было знать, за какой из них Ленин, чтобы определить и свое отношение. Но время шло. Пролетариат перестал быть пролетариатом, став у нас рабочим классом, враги общества перестали быть белыми, став шпионами, диверсантами, саботажниками, двурушниками, перерожденцами и т. п., богатые исчезли, ибо просторные квартиры и даже особняки, дачи, машины и прочее не принадлежали им, а предоставлялись государством. Сама диктатура пролетариата постепенно и не для всех заметно превратилась в самодержавие аппарата. Не ясно ли, что в этих условиях самое изощренное классовое чутье не могло обеспечить верную ориентировку. Ее могло дать лишь глубокое постижение духа марксизма, методологии ленинского политического мышления, а не механическое затверживание цитат и извлечений, среди которых, кстати говоря, немало и взаимно противоречивых, на основе которых Ленина можно упрекнуть едва ли не в беспринципности, а уж в непоследовательности — безусловно, если не понять главного: искусство политики не в неуклонном следовании раз и навсегда проложенному курсу, а в умении менять его, чтобы достигнуть желаемого.

Но откуда было взяться этому глубокому постижению, если даже многие партийные руководители основополагающих трудов Маркса, Энгельса, Ленина никогда не читали, заменив их различными популярными брошюрами, в которых идеи и мысли теоретиков марксизма вульгаризировались и примитивизировались порой до неузнаваемости. Профессиональная некомпетентность тесно сплеталась с идейной безграмотностью, а классовое чутье сменилось инстинктом аппаратного самосохранения.

Думаю, что в сфере литературы наиболее характерен пример с использованием и интерпретацией известной статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература». Жесткий аппаратный контроль над литературой, повседневная назойливая опека над литературными изданиями Союза писателей получили теоретическое обоснование в постоянных ссылках на эту работу Ленина. И несмотря на то, что о ней было сочинено немало брошюр и на ее материале защищено немало диссертаций, «в ходу» практически оставались три-четыре общеизвестные цитаты, на основании которых художественная литература объявлялась «частью партийной работы». А раз так, власть партийного аппарата над этой «частью», вмешательство в дела литературные становились вполне естественными.

Я приведу только один пример. Полемизируя с вероятными оппонентами, которые обвинят партию в том, что она отрицает «абсолютную свободу абсолютно-индивидуального идейного творчества» (заметим себе: «идейного творчества»! — Ю. И.), Ленин пишет: «Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов. Свобода слова и печати должна быть полная. Но ведь и свобода союзов должна быть полная».

Совершенно очевидно, что здесь речь идет о печати, причем партийной печати, а не о художественной литературе. Если предположить, что Ленин имел здесь в виду художественное творчество, то мы обязаны сделать и такой вывод: Ленин считал, что все писатели (литераторы) должны состоять в партии и печататься только в партийных изданиях, а в случае какого-либо отхода в романе или поэме от строгой партийной линии — под фирмой партии! — исключаться из нее. Но такого требования не выдвигали (по крайней мере официально) ни А. Щербаков, ни А. Жданов, ни М. Суслов! Абсурдно предполагать, что этого хотел Ленин...

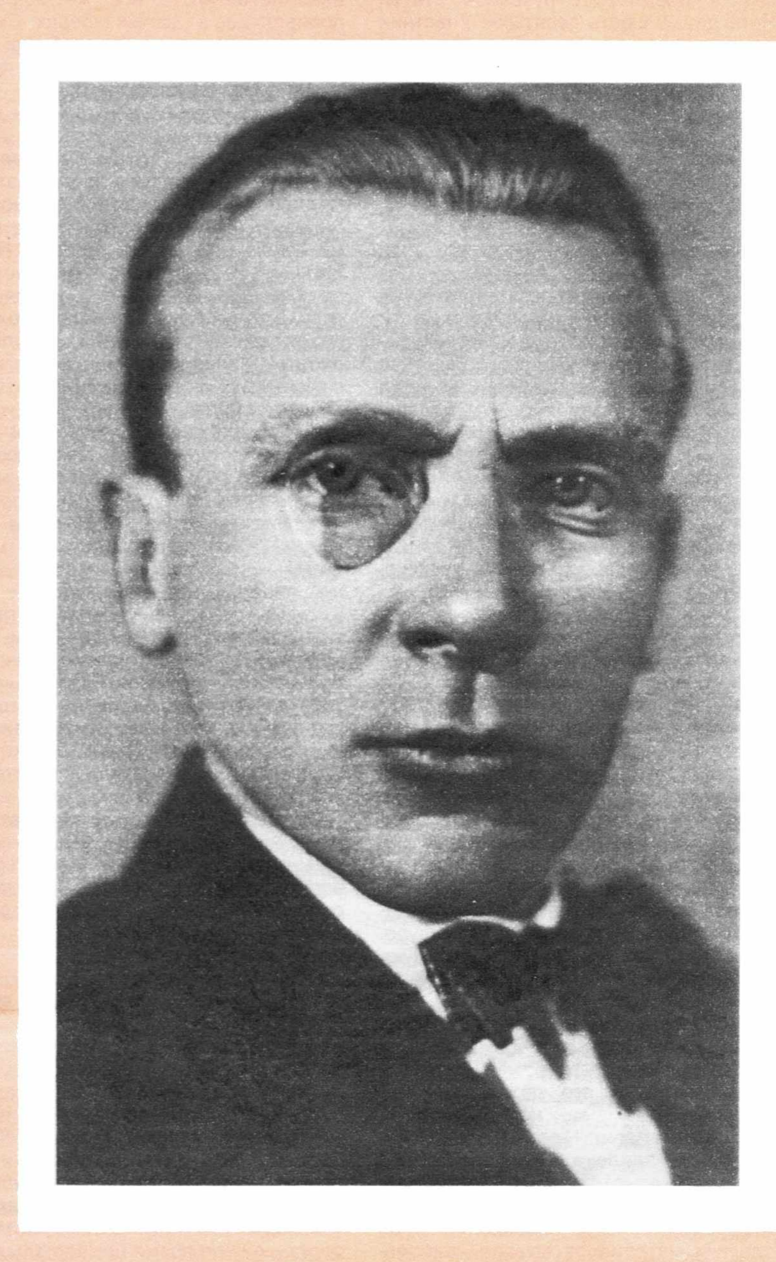
Так что ж, миллионы людей читали статью и не поняли ее, а вот автор этих строк, наконец, уразумел, что имел в виду Ленин? Разумеется, понимали это очень многие и очень давно. Подобно тому, как отлично понимали истинный смысл резолюции X съезда РКП(б) «Об единстве партии». Но так же, как эта резолюция десятилетиями интерпретировалась как полный запрет на собственное мнение под угрозой обвинения во фракционности, статья Ленина десятилетиями использовалась для обоснования аппаратного и цензурного контроля над художественным творчеством. Для того лишь, чтобы избежать демагогических обвинений в призыве к анархическому пониманию свободы творчества, разрушению устоев и т. п., разъясню: призываю не к отказу от ленинских идей, а к разоблачению их искажений, к отказу от аппаратного волюнтаризма, неизбежно связанного с «человеками со стороны».

Вот кажущийся теперь комичным пример, как под флагом партийности был наложен аппаратный запрет на... мысли Ленина. При подписании в печать номера «Октября» с романом Ю. Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата» уполномоченный Главлита предложил снять страницу текста с размышлениями о политической власти и опасности бюрократизма. Предвкушая удовольствие, я, придав лицу выражение крайней озабоченности, сообщил, что эти размышления принадлежат не столько автору, сколько Ленину, изложены в его последних статьях, и редакция готова «во избежание недоразумений» их закавычить. «Нет, нет, не надо!» — последовал твердый ответ, и я понял, что мой собеседник не так уж наивен, как я полагал. А многоопытный автор, которому на стадии сверки сообщили о купюре, мгновенно все понял и меланхолически заметил: «А три дня назад на пресс-конференции в Мадриде я категорически отрицал наличие у нас политической цензуры». Тогда в Испании еще правил каудильо, а у нас — уже Леонид Ильич...

Неужели мы доживаем до того времени, когда воспринятое всеми нами с восторгом понятие «гласность» (кстати, не переводимое ни на один язык мира) будет заменено более четким и определенным понятием «свобода слова»?

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Рубрику ведет Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ



7 мая 1926 года в квартиру Булгакова постучались гости... с обыском. Жена писателя запомнила имя следователя — Славкин, с ним был помощник в пенсне и арендатор дома в качестве понятого. Хозяина квартиры не оказалось, без него обыск не начинали. Сидели, молчали. Арендатор рассказал анекдот: «Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?» — «Госстрах не знаю, госужас вот...»

Рассказчик захохотал. Опять молчали — до прихода хозяина. И тут гости взялись за дело. Не церемонились — переворачивали кресла, кололи их какой-то длинной спицей. Булгаков сказал: «Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю...»

Словом, все было совершенно «по Булгакову» — как в его книгах...

«— Верно, верно! — кричал Коровьев...— Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой... И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!

— А вот интересно, если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита.

— Непременно придут, очаровательная королева, непременно! — отвечал Коровьев,— чует сердце, что придут, не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут».

Нет никакого сомнения, что Булгаков был глубоко оскорблен таким вторжением в его дом, надзором за его жизнью, за его творчеством. Ясно было и другое: Булгакову дали понять, что отныне он на особом счету, на учете, взят на «крючок». И теперь, что бы он ни написал, за всем наблюдало всевидящее око.

Но он не собирался уступать. Принял вызов.

24 июня он посылает заявление Председателю Совнаркома:

«7 мая сего года представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответственным занесением в протокол следующие мои имеющие для меня громадную интимную ценность рукописи: повесть «Собачье сердце» в 2-х экз. и «Мой дневник» (3 тетради).

Убедительно прошу о возвращении их мне».

По свидетельствам современников дважды в этом году его вызывали к следователю. Вновь и вновь — несколько лет подряд — писатель требует возвращения рукописей, добивается через Горького, через Екатерину Павловну Пешкову. Безрезультатно. Но уже ощутил последствия. Когда Булгаков подал заявление о двухмесячной поездке за рубеж,— отказали. Сидите дома!

18 мая 1928 года он вновь настаивает на «возвращении рукописей, содержащих крайне ценное... отражение... настроения в прошедшие годы (1921—1926)». «Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось, и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся. Прошу дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить».

Обратите внимание на это гордое «Я» личности перед всесильным и безликим «Оно» государства! Да и другое заставляет Булгакова действовать: он не может не понимать, что откровенность в дневнике рано или поздно будет использована против него.

6 июля еще одна попытка: Булгаков оформляет доверенность на получение рукописей на имя Пешковой. Вскоре Екатерина Павловна пишет ему: «Михаил Афанасьевич! Совсем не «совестно» беспокоить меня. О рукописях Ваших я не забыла и два раза в неделю беспокою запросами о них кого следует. Но лица, давшего распоряжение, нет

ПОД ПЯТОЙ

МОЙ ДНЕВНИК

М. А. БУЛГАКОВ

1923 год

2 сентября. Воскресенье

Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями.

Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.

Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать школу. Он стал даже немного теплым.

— Поклянемся, глядя на луну...

Он смел, но он ищет поддержки во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны.

⌘

Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома [1], у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас я, возможно, присяду.

3 сентября, понедельник

После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло.

Я каждый день хожу на службу в этот свой «Гудок»[2] и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.

Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает. Без проклятого пойла — пива — не обходится ни один день. И сегодня я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Калменсом [3] и, конечно, хромым «капитаном» [4], который возле графа стал как тень.

30 (17-го стар. ст.) сентября

Вероятно потому, что я консерватор до... «мозга костей» хотел написать, но это шаблонно, но, словом, консерватор, всегда в старые праздники меня влечет к дневнику. Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву. Два года. Многое ли изменилось за это время? Конечно, многое. Но все же вторая

в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу, извещу Вас».

Летят месяцы. Он уже пережил и первоначальную нищету, бесприютность и безвестность в Москве (в ту пору, когда писался дневник), и свою первую кратковременную славу — бурный успех пьес и ранней прозы (как раз тогда, когда, на взлете, он лишился этого злополучного дневника), и постигшее потом, все более нарастающее публичное отчуждение — он явно изгонялся из «литературы». Прослеживая теперь течение жизни Булгакова, мы видим, как постепенно захлестывает его петля, государственная удавка, и чем он настойчивей сопротивляется, тем она затягивается туже.

Летом 1929 года он пишет брату Николаю: «Теперь сообщаю тебе, мой брат: положение мое неблагополучно. Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР и беллетристической ни одной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой выпустить за границу на любой срок... В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить... Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока...»

В заявлении Правительству, о котором говорится в письме, Булгаков напоминал, что не раз подавал «прошения о возвращении рукописей» и что «получал отказы или не получал ответа на заявления». О том же он пишет Горькому: «Ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечают... Остается уничтожить последнее, что осталось,— меня самого. Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня».

Именно в этот момент — 3 октября — его вызывают в Политуправление (ПУР) и наконец отдают рукописи. Так считают исследователи, да и Елена Сергеевна Булгакова свидетельствует, что дневники были возвращены именно в это время.

И что же делает с ними Мастер?

«Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним... Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела и я кочергой яростно добивал их».

Итак, Булгаков уничтожил свой дневник. Но прежде вырезал из него ножницами четыре крохотных фрагмента (их бережно сохранила Елена Сергеевна и опубликовала Мариэтта Чудакова в своем «Жизнеописании Михаила Булгакова»). Его жест! Так, примерно в это же время, написав письмо Сталину, он уничтожил первый вариант романа о Христе: разорвал рукопись сверху вниз, сохранив корешок с рассеченными, оpolовиненными страницами...

Булгаков сжег дневник, отбывший более чем трехлетний срок на Лубянке. Но рукопись не исчезла. Ее сохранили там... В ОГПУ рукопись, прежде чем вернуть автору, предусмотрительно перепечатали, копия благополучно пролежала до наших дней, и вот теперь мы получили ее для публикации.

Случилось еще одно из булгаковских чудес.

В последние дни перед кончиной Булгакова, рассказывала Елена Сергеевна, ему мерещилось, что «забирают его рукописи.— Там есть кто-нибудь? — спрашивал он беспокойно. И однажды заставил меня подняться с постели и, опираясь на мою руку, в халате, с голыми ногами, прошел по комнатам и убедился, что рукописи «Мастера» на месте. Он лег высоко на подушки и упер правую руку в бедро — как рыцарь».

«— Дайте-ка посмотреть,— Воланд протянул руку ладонью кверху.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать,— ответил мастер,— потому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю,— ответил Воланд,— этого быть не может. Рукописи не горят».

годовщина меня застает все в той же комнате и все таким же изнутри.

Болен я, кроме всего прочего...

⌘

Во-первых, о политике, все о той же гнусной и неестественной политике. В Германии идет все еще кутерьма. Марка, однако, начала повышаться в связи с тем, что немцы прекратили пассивное сопротивление в Руре, но зато в Болгарии идет междоусобица. Идут бои с коммунистами. Врангелевцы участвуют, защищая правительство. Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма. Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно мир раскалывается на две части — коммунизм и фашизм.

Что будет — никому неизвестно.

⌘

Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один — отсутствие квартиры.

<В> литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленкой какой-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то... что я так глубоко и по-настоящему (это я) знаю мыслью и чувством.

22 октября. Понедельник. Ночь

Сегодня на службе в «Гудке» произошел замечательный корявый анекдот. «Инициативная группа беспартийных» предложила собрание по вопросу о помощи германскому пролетариату. Когда Н. открыл собрание, явился комм<унист> Р. и, волнуясь, и угрожающе заявил, что это «неслыханно, чтобы беспартийные собирали свои собрания». Что он требует закрыть заседание и собрать общее. Н., побледнев, сослался на то, что это с разрешения ячейки.

Дальше пошло просто. Беспартийные как один голосовали, чтобы партийцы пригласили партийных, и говорили льстивые слова. Партийцы явились и за это вынесли постановление, что они дают вдвое больше (беспартийные — однодневный, партийные — двухдневный заработок), наплевав таким образом беспартийным ослам в самую физиономию.

26 октября. Пятница. Вечер

В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого.

Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами... трудно печататься и жить.

Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя.

Но не будем унывать. Сейчас я просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере. Там Давид, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога.

⌘

Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне»[5]. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.

⌘

Но мужества во мне теперь больше. О, гораздо больше, чем в 21-ом году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее.

6 ноября (24 октября). Вторник. Вечер

Недавно ушел от меня Коля Г.[6]. Он лечит меня. После его ухода я прочел плохо написанную, бездарную книгу Мих. Чехова о его великом брате[7]. Я читаю мастерскую книгу Горького «Мои университеты».

Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь.

Несимпатичен мне Горький, как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие стр<ашные> и важные вещи говорит он о писателе.

Сегодня, часов около пяти, я был у Лежнева[8], и он сообщил мне две важные вещи: во-первых, о том, что мой рассказ «Псалом» (в «Накануне») великолепен как миниатюра («я бы его напечатал»), и второе, что «Накануне» всеми пре<зи>раемо и ненавидимо. Это меня не страшит. Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезнь и слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль, уже два раза опер<ированная>. Боюсь, что слепая болезнь прервет мою работу. Если не прервет, я сделаю лучше, чем «Псалом».

⌘

Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.

Посмотрим же и будем учиться, будем молчать.

1924 год

8 января

Сегодня в газетах бюллетень о состоянии здоровья Л. Д. Троцкого. Начинается словами: «Л. Д. Троцкий 5 ноября прошлого года болел...», кончается: «Отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей, на срок не менее двух месяцев». Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.

Итак, 8 января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!

Сегодня вечер у Бориса[9]. Мы только что вернулись с женой. Было очень весело. Я пил вино, и сердце мое не болит.

Червонец — 36 миллиардов...

22 января

Сейчас только что (пять с половиной часов вечера) Семка сообщил, что Ленин скончался. Об этом, по его словам, есть официальное сообщение.

25 февраля. Понедельник

Сегодня вечером я получил от Петра Никаноровича[10] свежий номер «Недра». В нем моя повесть «Дьяволиада».

Это было во время чтения моего — я читал куски из «Белой гвардии» у Веры Оскаровны З.[11].

По-видимому, и в этом кружке производило впечатление. В. О. просила продолжать у нее же.

⌘

Итак, впервые я напечатан не на газетных листах и не в тонких журналах, а в книге альманаха. Да-с. Сколько мучений стоит!

«Записки на ман<жетах>» похоронены[12].

15 апреля. Вторник

В Москве многочисленные аресты лиц с «хорошими фамилиями». Вновь высылки. Был сегодня Д. К.[13]. Тот, по обыкновению, полон фантастическими слухами. Говорит, что будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало.

⌘

Идет кампания перевыборов правлений жилищных товариществ (буржуев выкинуть, заменить рабочими). Единственный дом, где этого нельзя сделать, наш. В правлении ни одного буржуя. Заменять некого.

21 июля. Понедельник

...Приехали из Самары И<льф> и Ю<рий> О<леша>. В Самаре два трамвая. На одном надпись — «Площадь Революции — тюрьма», на другом — «Площадь Советская — тюрьма». Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!

В Одессе барышню спросили: «Подвергались ли вы чистке?» Она ответила: «Я девица».

С Олешей все-таки интересно болтать. Он едок, остроумен.

2 августа. Суббота

Вчера получилось известие, что в экипаж Калинина (он был в провинции где-то) ударила молния. Кучер убит, Калинин совершенно невредим.

Сегодня состоялась демонстрация по случаю десятилетия «империалистической» войны. Я не был. Возвращаясь из «Гудка», видел, как к Страстной площади <шли> служащие милиции в форме и штатские. Впереди оркестр. Распоряжались порядком верховые в кепках, с красными нарукавниками — повязками. Двух видел — у обоих из-под задравшихся брюк торчат завязки подштанников.

4 августа. Понедельник

Знаменитый сатирический журнал «Красный перец» отличался несколько раз. В частности, в предпоследнем своем номере, где он выпустил рисунок под надписью «Итоги XIII съезда» (толстую нэпманшу шнурует горничная, и нэпманша говорит приблизительно так: «Что ты <душишь> меня, ведь и XIII съезд нас только ограничил». Что-то в этом роде. В Московском комитете партии подняли гвалт. Кончилось все это тем, что прихлопнули и «Красный перец», и сестру его «Занозу». Вместо них выйдет один тощий журнал. Поручено выпустить некоему Верхотурскому (кажется, редактор «Рабочей Москвы»). Сегодня был на заседании, обсуждавшем первые темы и название нового журнала. «Крутой поворот влево»: журнал должен быть рабочим и с классово-производственным заглавием. Тщетно С. отстаивал кем-то предложенное название «Петрушка». Назовут «Тиски» или «Коловорот», или как-нибудь в этом роде. Когда обсуждали первую тему, предложенную Кот. для рисунка «Еврейское равновесие»... Верхотурский говорил: — Да. А вот хорошо бы, чтобы при этом на заднем плане были видны рабочие, которые войдут и весь этот буржуазный цирк разрушат.

12 сентября. Пятница

Яркий солнечный день.

Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась.

В Китае гремит гражданская война. Не слежу за газетами в этой области, знаю лишь, что «империалистические хищники» замешаны в этом деле и поэтому в Одессе (!) образовалось общество «Руки прочь от Китая».

В ночь с 20 на 21 декабря

Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, «Водоканал» сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.

Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву.

Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы.

Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена.

Во всем так.

Литература ужасна.

23 декабря, вторник.
(Ночь на 24-ое)

...Утешил меня очень разговор в парикмахерской. Брила меня девочка-мастерица. Я ошибся в ней, ей всего 17 лет, и она дочь парикмахера. Она сама заговорила со мной и почему-то в пречистенских тихих зеркалах при этом разговоре был большой покой.

Для меня всегда наслаждение видеть Кремль. Утешил меня Кремль. Он мутноватый. Сейчас зимний день. Он всегда мне мил.

На службе меня очень беспокоили и часа три я провел безнадежно (у меня сняли фельетон). Все накопление сил. Я должен был еще заехать в некоторые места, но не заехал, потому что остался почти до пяти часов в «Гудке», причем Р. О. Л. при Ароне[14], при П<отоцком>[15] и кто-то <еще> был, держал речь, обычную и заданную мне — о том, каким должен быть «Гудок». Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел в лицо Р. О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал...

Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р. О., одновременно — вагон, в котором я ехал не туда, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.

Бессмертье — тихий <светлый> брег...
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег,
Вы, странники терпенья...[16]

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-Аул и последнюю фразу сказал мне так:

— Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня уже контузили через полчаса после него.

Так вот, я видел тройную картину. Сперва — этот ночной ноябрьский бой, сквозь него — вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот бессмертно-проклятый зал в «Гудке». Блажен, кого постигнул бой. Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию.

Когда мы расходились из «Гудка», в зимнем тумане, в вестибюле этого проклятого здания, По. сказал мне: «Молодец вы, Михаил Афанасьевич». Это мне было приятно, хотя я, конечно, ни в какой мере не молодец, пока что.

26 декабря. (В ночь на 27-ое)

Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора «Недр». Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее, разговоры о «писательской правде» и «лжи». Был Вересаев, К., Никандров, Кириллов, Зайцев (П. Н.), Ляшко и Львов-Рогачевский[17]. Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочем, чего вообще говорить не следует.

Ляшко, пролетарский писатель, чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрытым раздражением:

— Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему все нужно изображать? Нужно давать «чер<ес>полосицу»... и т. д.

Когда же я говорил, что нынешняя эпоха — это эпоха сви<нства> — он сказал с ненавистью:

— Чепуху вы говорите...

Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения.

⌘

Лютый мороз. Сегодня утром водопроводчик отогрел замерзшую воду. Зато ночью, лишь только я вернулся, всюду потухло электричество.

⌘

Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос — беллетрист ли я?

В ночь на 28 декабря

Вечером у Никитиной[18] читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда не выпеченное. Во всяком случае там сидело человек тридцать и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.

Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». Очень помогает мне от этих мыслей моя жена[19]. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Но одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно или это избирательно, для меня?

Фото-фельетон из журнала «Новый зритель». 1927 г.



1925 год
2 января, в ночь на 3-е

Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из «Гудка» пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал «доколе, Господи»,— как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру.

3 января

Сегодня у Лежнева получил 300 рублей в счет романа «Белая гвардия», который пойдет в «России». Обещали на остальную сумму векселя.

Были сегодня вечером с женой в «Зеленой лампе»[20]. Я говорю больше, чем следует, но не говорить не могу. Один вид Ю. П.[21], приехавшего по способу чеховской записной книжки и нагло уверяющего, что...

— Мы все люди идеологии,— действует на меня, как звук кавалерийской трубы:

— Не бреши!

Литература, на худой конец, может быть даже коммунистической, но она не будет <са>дыкерско-сменовеховской[22]. Веселые берлинские бляди. Тем не менее, однако, боюсь, как бы «Белая гвардия» не потерпела фиаско. Уже сегодня вечером на «Зеленой лампе» Ауслендер[23] сказал, что «в чтении...» и поморщился. А мне нравится, черт его знает, почему.

4 января

Сегодня вышла «Богема» в «Кр<асной ниве>» № 1. Это мой первый выход в специфически-советской, топкой журнальной клоаке. Эту вещь я сего-

дня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило страшно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Уж очень мы тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка, кажется, впервые с знаменитой осени 1921 г. позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике,— написан отрывок совершенно на «ять», за исключением одной, двух фраз...

5 января

Какая-то совершенно невероятная погода в Москве — оттепель, все распустилось и такое же точно, как погода, настроение у москвичей. Погода напоминает февраль и в душах февраль.

— Чем все это кончится? — спросил меня сегодня один приятель.

Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире как раз в этот момент в комнате через коридор пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью. И один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный, как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую.

Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Он помещается в Столешниковом пер., вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть как это? (Растерянно.)

— Нет, не бьют... (Зловеще.)

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год. 12-ый еще не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.

— Лучше б я его в библиотеку отдала.

Тираж, оказывается, 70 тысяч и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.

— Как в синагоге,— сказал М., выходя со мной.

Меня очень заинтересовало, на сколько процентов все это было сказано для меня специально. Не следует, конечно, все это преувеличивать, но у меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших «Белую гвардию» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением.

⌘

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно — безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены.

⌘

Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией.

25 февраля, среда. Ночь

Передо мной неразрешимый вопрос. Вот и все.

КОММЕНТАРИИ

Перед нами — машинописная копия, выполненная на листах большого формата. На титульном листе — название: «Под пятой. Мой дневник» (чернилами сверху вписано еще одно слово — «Булгакова»). Записи автором велись в 1923—1925 годах.

Восстановленные в необходимых случаях буквы и слова заключены в угловые скобки.

Мы предлагаем вниманию читателя лишь часть дневника М. А. Булгакова. Полностью он будет опубликован в журнале «Театр», № 2, 1990 г.

1. В 1921—1924 годах Булгаков жил на Большой Садовой улице в доме № 10, кв. 50. Быт этой квартиры служил темой для многих его произведений.

2. В редакции газеты «Гудок» Булгаков работал с конца 1922 или начала 1923 года литобработчиком читательских писем, затем — фельетонистом.

3. Калменс С. Н.— зав. финансами московского отделения газеты «Накануне».

4. «Хромой «капитан» — вероятно, Зузенко, капитан дальнего плавания, сотрудник газеты «На вахте». О нем пишет в своих воспоминаниях К. Г. Паустовский.

5. «Накануне» — русскоязычная газета, выходившая в Берлине.

6. Гладыревский Н. Л.— врач, друг семьи Булгаковых.

7. Имеется в виду книга М. Чехова «Антон Чехов и его сюжеты». М., 1923 г.

8. Лежнев И. Г.— литератор, редактор журнала «Россия».

9. Земский Б. М.— брат А. М. Земского, мужа сестры Булгакова — Надежды.

10. Зайцев П. Н.— секретарь и зав. редакцией издательства «Недра».

11. Вероятно, Вера Оскаровна Станевич — филолог и литературовед.

12. Речь идет об отдельном издании книги «Записки на манжетах».

13. Возможно, Д. А. Кисельгоф — адвокат, знакомый Булгаковых.

14. Арон-Эрлих А. И.— литератор, сотрудник «Гудка».

15. Потоцкий А. В.— зав. отделом партийной жизни газеты «Гудок».

16. Отрывок из «Певца во стане русских воинов» В. Жуковского, три первых строки которого взяты Булгаковым в качестве эпиграфа к пьесе «Бег». По мнению М. Чудаковой, это «программа будущей линии Мастера, наиболее полно воплотившей сквозной мотив всего творчества Булгакова (покой бессмертия как конечная цель бытия)».

17. Никандров Н. Н., Кириллов В. Т., Ляшко Н. Н., Львов-Рогачевский В. Л.— советские писатели.

18. Никитина Е. Ф.— литературовед, в ее квартире проходили литературные заседания, получившие название «Никитинские субботники».

19. Белозерская Л. Е.— вторая жена Булгакова.

20. «Зеленая лампа» — один из московских литературно-художественных кружков того времени.

21. Потехин Ю. Н.— литератор, сотрудник «Накануне».

22. Садыкер П. А.— директор-распорядитель акц. общества «Накануне». Сменовеховцы — участники сборника «Смена вех», провозгласившего необходимость сближения с новой, советской Россией.

23. Ауслендер С. А.— литератор.

Подготовка текста и комментарии К. Н. КИРИЛЕНКО и Г. С. ФАЙМАН.

ПРОШУ СЛОВА!

СЛОНА И НЕ ПРИМЕТИЛ



В полемических заметках о концепции экономической реформы «Перепутье без выбора?» («Советская Россия», 29 октября с. г.) обозреватель ТАСС Ю. Воробьевский почему-то с радостью сообщает, что экономическая мысль в нашей стране остановилась раз и навсегда. Почему вдруг? А потому, что, по Воробьевскому, в рамках нашей странной гласности у микрофонов и телекамер прочно обосновались не настоящие ученые-экономисты, а экономисты-рыночники, они же «сказочники» и «мифотворцы». А настоящие ученые-антирыночники («ученые из провинции», «нечиновные ученые», такие, как, например, ленинградцы Г. Муравьев, А. Рещиков и др.) широко известны лишь в узком кругу, поскольку не имеют доступа к средствам массовой информации.

Разоблачая экономистов-рыночников, автор заметки входит в такой полемический раж, что возникают сомнения относительно неправомочности действий тех, кто «не пускает» антирыночников к микрофону и телекамерам. Может быть, это делается из гуманных соображений, от желания спасти нас — читателей, зрителей и слушателей — от ученого невежества? Посудите сами. Автор пишет: «В мире уже сформированы оптимальные системы стимулирования труда, организации и управления производством. Они эффективно действуют независимо от формы собственности». Побойтесь бога, Ю. Воробьевский! В каком мире, может быть, в потустороннем, вы нашли экономику, независимую от производственных отношений? Суть искомой реформы в том и состоит, чтобы сломать оковы отживших свой век производственных отношений, построенных на внеэкономическом принуждении, раскрепостить производителя, дать ему возможность зарабатывать на себя, на свою семью и на общество, а нам говорят, что это можно сделать независимо от его отношения к собственности. От такой научной методологии не то что Маркс, а любой из классиков буржуазной политэкономии трижды перевернется в своем гробу.

Кстати, ссылка на «безгрешных» классиков сейчас не в моде, поэтому на потребу обывателям, как пишет Ю. Воробьевский, их безбожно перевирают. Конечно, это делают опять же ненастоящие ученые, такие, как Н. Шмелев, например, который, видите ли, статью Ленина «О кооперации» до конца не прочел, а Ю. Воробьевский прочел и... обнаружил, что Ленин ведет в ней речь (замри, читатель!) всего лишь «о необходимости культурной революции для крестьянства. О товарных отношениях и речи НЕТ!». Вот уж поистине на человеке креста нет. И Ленин периода нэпа, оказывается, был антирыночником! Читаем Ленина (но не с конца, а с начала): «В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации... При господстве нэпа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов». Добавим от себя: и составляет до сих пор, поскольку антирыночники считают себя борцами за подлинный социализм. В открытии возможности и необходимости государственного регулирования рыночных отношений и есть суть нэпа, суть коренной «перемены всей точки зрения нашей на социализм», что «вычитал» из ленинской статьи Н. Шмелев и что «недовычитал» Ю. Воробьевский.

Кто же тут перевирает классиков на потребу обывателям? В статье «О значении золота...», где есть и знаменитое особое звено в цепи, за которое нужно ухватиться, и идея использования золота для общественных туалетов при полном социализме, Ленин высказывается еще более определенно: «В данный момент в той области деятельности, о которой идет речь, таким звеном является оживление внутренней торговли (подчеркнуто Лениным) при ее правильном государственном регулировании (направлении)». А о золоте? — «...Беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле». Это все так, может кисло согласиться антирыночник, но ведь в статье «О кооперации» Ленин действительно говорит о коренной перемене, как о перенесении центра тяжести на мирную организационную культурную работу. Говорит, но не в духе школьного стереотипа о культурной революции, а в смысле культуры все тех же рыночных отношений. Если опять же читать статью не с конца, а с начала, то увидим, что Ленин предлагает соединить новую политическую систему с умением быть толковым и грамотным торгашом, чего «вполне достаточно для хорошего кооператора». И далее: «Под уменьем быть торгашом я понимаю уменье быть культурным торгашом, ...торговать по-европейски». Отсюда и постановка вопроса о социализме как строе «цивилизованных кооператоров».

Если вспомнить ко всему сказанному, что у Ленина в статье речь идет не только о крестьянстве, но и поголовно о всем населении, то становится понятным, как подвело Ю. Воробьевского внеконтекстное цитирование классика. Слона-то он и не приметил, но зато доволен тем, что «разоблачил» миф о рыночном характере нэповской перестройки. И таких «подвигов Геракла» у нашего полемиста целая дюжина. Не стоит занимать время на их подробный разбор. Читатель сам может убедиться, что с легкостью необыкновенной у Ю. Воробьевского и Маркс, оказывается, предлагал планировать экономику не по законам стоимости, и Нобелевский лауреат В. Леонтьев у него уже союзник в борьбе за плановую экономику (сравните, объективности ради, статью В. Леонтьева «Проблемы, стоящие перед вашей страной» в «ЛГ» от 1 ноября с. г.), и японские «кружки качества» выступают как пример жизненности социалистического соревнования. Да что там «кружки качества» — весь цивилизованный мир, если развеять злые чары ниших наших экономистов, движется в сторону, которую указывают подлинные ученые-антирыночники. Приехали, что называется.

А. ТИХОНОВ,
кандидат философских наук
Ленинград

СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

Итак, сталинский трюк состоял в том, чтобы выпустить на процесс в качестве обвиняемых своих высокопоставленных сановников, проводивших на селе именно сталинскую политику насильственной коллективизации, приказать им, чтобы они заявили перед судом, что на самом деле они были тайными агентами Бухарина и Рыкова и свирепствовали на украинской и белорусской земле, выполняя бухаринско-рыковскую инструкцию. А дана эта инструкция была исключительно для того, чтобы вызвать недовольство крестьян сталинским режимом.

На процессе Чернов сознавался, что он и его сообщники по заговору «старались неправильно планировать посевные площади, чтобы уменьшить в стране количество пахотных земель и одновременно вызвать недовольство крестьянства... портить тракторы и комбайны, заражать болезнетворными бациллами элеваторы и амбары...».

Вторя ему, Шарангович объяснил, что в 1936 году он с сообщниками «вызвал большую вспышку анемии(!), в результате которой погибло около 30 тысяч лошадей».

Не менее фантастические вредительские акты приписывались подсудимым и в других областях экономики — в тяжелой и легкой промышленности, внутренней и внешней торговле, а также в финансовой политике государства. Все достижения индустриализации трактовались как заслуга Сталина, все упущения и хаос — как результат деятельности оппозиции. Становилось все более ясным, что Сталин печется лишь о благе народа. Его противники, наоборот, сеяли трудности и лишения с явной целью спровоцировать в народе недовольство Сталиным. Для достижения этой цели вредители не останавливались даже перед организацией взрывов на угольных шахтах, рассчитывая на гибель большого количества шахтеров... Один из подсудимых согласился с прокурором в том, что бывшие лидеры оппозиции придерживались такой точки зрения: «человеческие жертвы — вещь хорошая, потому что вызовут недовольство рабочих».

Не менее яркой была представленная суду картина вредительства на железнодорожном транспорте. Железнодорожные катастрофы случаются и нередко влекут за собой человеческие жертвы не только в отсталых, но и в высокоразвитых странах, где железные дороги оснащены самой совершенной техникой. В СССР получилось так, что устаревшим дорогам, построенным еще в царское время, пришлось работать с огромной перегрузкой. Постоянным явлением на транспорте были пробки, а частые крушения поездов стали настоящим бедствием. В каждом таком случае производилось какое-то расследование, обнаруживались истинные или мнимые виновники, их давно расстреляли, однако теперь Сталин приказал НКВД вновь поднять материалы об этих происшествиях, отобрать наиболее страшные и выдать их на третьем московском процессе за результат вредительской деятельности оппозиционеров.

Но самые кошмарные истории страна услышала даже не от организаторов железнодорожных катастроф, а от старого большевика Зеленского. Поощряемый наводящими вопросами генерального обвинителя Вышинского, он рассказал на суде о том, как вместе со своими сообщниками дезорганизовал советскую торговлю, чтобы лишить население продовольствия и товаров первой необходимости. Зная, как народ страдает от хронического недоедания, Сталин решил сыграть и на этой болезненной проблеме, чтобы снять с себя ответственность за вечный дефицит самых необходимых продуктов.

Зеленский рассказывал, что, являясь главой так называемого Центросоюза, он создавал перебои в снабжении населения товарами. В результате его вредительской деятельности в лавках потребкооперации не оказалось ни сахара, ни соли, ни махорки, на которые всегда был большой спрос. Он ввел в торговой сети принцип неравномерного распределения товаров, так что в одних лавках не хватало самого необходимого, а в другие, напротив, завозился избыток товаров в расчете на их порчу. И вновь повторялся уже знакомый рефрен: все это делалось для того, чтобы возбудить в народе недовольство сталинским режимом.

Но Вышинскому и этого было недостаточно. Он знал, что Сталин ждет более пикантных разоблачений.

— А как обстояло дело с маслом из-за вашей вредительской деятельности? — выпытывал Вышинский у подсудимого с наглостью профессионального шантажиста.

Целому поколению детей, родившихся после 1927 года, был незнаком даже вкус сливочного масла. С 1928 по 1935 год российские граждане могли увидеть масло только в витринах так называемых торгсинов, где все продавалось только в обмен на золото или иностранную валюту. В 1935 году, когда карточная система, державшаяся шесть лет подряд, была наконец отменена, масло появилось в коммерческих магазинах, однако по совершенно недоступной для населения цене.

Теперь Вышинскому требовалось, чтобы Зеленский признал, что именно руководители оппозиции, а не кто другой, лишили народ возможности видеть на своем столе масло.

— Как обстоят дела с маслом, вот что меня интересует! — восклицал он.— Вы тут говорили о соли, о сахаре и так далее, о том, как вы путем саботажа лишили магазины этих продуктов. Ну, а как было с маслом?

— Маслом мы в деревне не торгуем,— отвечал Зеленский.

— Я не спрашиваю вас, чем вы торгуете,— раздраженно прервал его Вышинский.— Вы торговали раньше всего Родиной... Но что вам известно относительно торговли маслом?

Этот пункт, очевидно, не был заранее полностью согласован с обвиняемым, и Зеленский никак не мог сообразить, чего от него хотят. Он повторил:

— Я же вам сказал, что кооперативы не торгуют маслом в деревне...

— Я вас не спрашиваю, чем вы торгуете,— опять оборвал Вышинский.— Вы тут не торговец, а член организации заговорщиков. Что вам известно насчет масла?

— Ничего,— отвечал Зеленский, все еще не понимая, куда клонит прокурор.

В этот момент председательствующий Ульрих потребовал от Зеленского, чтобы он отвечал по существу и перестал пререкаться с прокурором. Зеленский больше не возражал Вышинскому и в ответ на дальнейшие вопросы подтвердил, что руководители оппозиции повинны в нехватке масла. Кроме того, он поддакнул Вышинскому еще в одном: участники заговора подбрасывали в масло гвозди и битое стекло.

— Вы отвечаете за всю преступную деятельность блока? — спросил Вышинский.

— Да, за всю.

— За гвозди, за стекло, подброшенное в масло, чтобы ранить нашим людям горло и желудок, вы отвечаете? — напирал Вышинский.

— Отвечаю,— смиренно подтвердил Зеленский.

Эти горы лжи понадобилось нагромоздить для того, чтобы в своей обвинительной речи Вышинский мог сформулировать тезисы, действительным автором которых был Сталин.

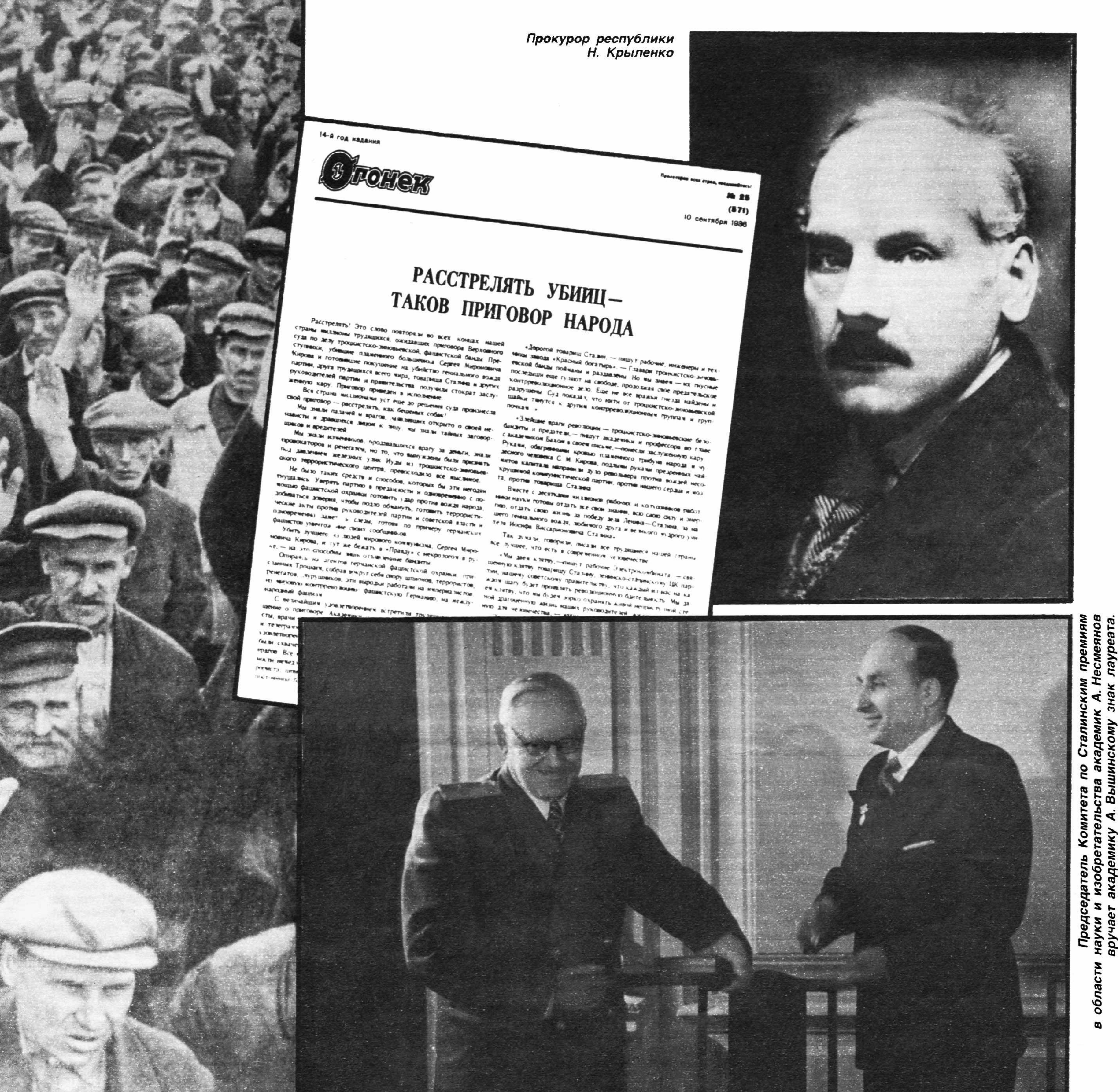
— В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказался в недостатке. Ясно теперь, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники!

Обвиняемых, ставших козлами отпущения, казнили. Однако жизненный уровень трудящихся в СССР не повысился. Напротив, он стал еще ниже.



Продолжение. См. Огонек» №№ 46—50.

Прокурор республики
Н. Крыленко



14-й год издания

Огонек

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 25 (571)

10 сентября 1936

РАССТРЕЛЯТЬ УБИЙЦ — ТАКОВ ПРИГОВОР НАРОДА

Расстрелять! Это слово повторяли во всех концах нашей страны миллионы трудящихся, ожидавших приговора Верховного суда по делу троцкистско-зиновьевской, фашистской банды. Преступники, убившие пламенного большевика Сергея Мироновича Кирова и готовившие покушение на убийство гениального вождя партии, друга трудящихся всего мира, товарища Сталина и других руководителей партии и правительства, получили стократ заслуженную кару. Приговор приведен в исполнение.

Вся страна миллионами уст еще до решения суда произнесла свой приговор — расстрелять, как бешеных собак!

Мы знали палачей и врагов, заявлявших открыто о своей ненависти и дравшихся лицом к лицу, мы знали тайных заговорщиков и вредителей.

Мы знали изменников, продававшихся врагу за деньги, знали провокаторов и ренегатов, но то, что вынуждены были признать под давлением железных улик Иуды из троцкистско-зиновьевского террористического центра, превосходило все мыслимое.

Не было таких средств и способов, которых бы эти негодяи гнушались. Уверить партию в преданности и одновременно с помощью фашистской охранки готовить удар против вождя народа, добиваться доверия, чтобы подло обмануть, готовить террористические акты против руководителей партии и советской власти и одновременно заметать следы, готовя по примеру германских фашистов уничтожение своих сообщников.

Убить лучшего из людей мирового коммунизма, Сергея Мироновича Кирова, и тут же бежать в «Правду» с некрологом в руке, — на это способны лишь отъявленные бандиты.

Опираясь на агентов германской фашистской охранки, присланных Троцким, собрав вокруг себя свору шпионов, террористов, ренегатов, двурушников, эти выродки работали на империалистов, на черную контрреволюцию, фашистскую Германию, на международный фашизм.

С величайшим удовлетворением встретили трудящиеся сообщение о приговоре. Академики …

«Дорогой товарищ Сталин, — пишут рабочие, инженеры и техники завода «Красный богатырь». — Главари троцкистско-зиновьевской банды пойманы и раздавлены. Но мы знаем — их гнусные последыши еще гуляют на свободе, продолжая свое предательское контрреволюционное дело. Еще не все вражьи гнезда найдены и разрушены. Суд показал, что нити от троцкистско-зиновьевской шайки тянутся к другим контрреволюционным группам и группочкам...»

«Злейшие враги революции — троцкистско-зиновьевские белобандиты и предатели, — пишут академики и профессора во главе с академиком Бахом в своем письме, — понесли заслуженную кару. Руками, обагренными кровью пламенного трибуна народа и чудесного человека С. М. Кирова, подлыми руками презренных наймитов капитала направили дуло револьвера против вождей несокрушимой коммунистической партии, против нашего сердца и мозга, против товарища Сталина.

Вместе с десятками миллионов рабочих и колхозников работники науки готовы отдать все свои знания, всю свою силу и энергию, отдать свою жизнь за победу дела Ленина—Сталина, за нашего гениального вождя, любимого друга и великого мудрого учителя Иосифа Виссарионовича Сталина».

Так думали, говорили, писали все трудящиеся нашей страны, все лучшее, что есть в современном человечестве.

«Мы даем клятву, — пишут рабочие Электрокомбината, — священную клятву товарищу Сталину, ленинско-сталинскому ЦК партии, нашему советскому правительству, что каждый из нас на каждом шагу будет проявлять революционную бдительность. Мы даем клятву, что мы будем зорко охранять жизнь …

Председатель Комитета по Сталинским премиям в области науки и изобретательства академик А. Несмеянов вручает академику А. Вышинскому знак лауреата.

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ

Сталин уничтожил больше революционеров, чем все русские цари, вместе взятые. Он ликвидировал не только действительных и потенциальных соперников, но и их последователей. Стремясь избавиться от нежелательных свидетелей, отправил на тот свет своих самых верных прислужников, исполнявших его преступные распоряжения. Погубил своих старых кавказских друзей — только потому, что им было известно кое-что из его прошлого. Однако во всей этой длинной цепи «ликвидаций», совершенных Сталиным на протяжении его долгой и кровавой карьеры, ничто не поразило меня так, как убийство Авеля Енукидзе.

Этот человек был самым близким другом Сталина еще со времен их юности. В середине 30-х годов Енукидзе занимал высокий пост председателя

Центрального исполнительного комитета (ЦИК). Но к этому времени он утратил те черты революционера, которые его отличали раньше, и оказался одним из тех деятелей, которые выродились в типичных сановников, с упоением наслаждавшихся окружающей роскошью и своей огромной властью.

Когда я спросил своего старого приятеля, много лет бывшего личным секретарем Енукидзе, чем интересуется его шеф, последовал ответ:

— Ох, он больше всего на свете любит сравнивать, как ему живется: лучше, чем жили цари, или пока еще нет.

При этом он безнадежно махнул рукой, и в его глазах появились лукавые искорки. Заметив мое изумление, он поспешил добавить, что его шеф — «отличный мужик».

Я никогда не мог понять, на чем зиждется столь тесная дружба Сталина и Енукидзе, людей, разительно непохожих друг на друга. Это касалось даже их внешности. Енукидзе был крупным светловолосым мужчиной с приятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников он мало интересовался своей карьерой. Мне, в частности, известно, что, когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, ленивый Авель сказал: «Сосо, я так или иначе буду тянуть свою лямку; ты лучше отдай это место Лазарю (Кагановичу), он так давно стремится его получить!»

Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным поощрениям. И, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвигать его на освобождающиеся посты, а использовал открывшиеся в Политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других.

Теперь, когда я знаю о Енукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в Политбюро не потому, что был лишен амбиций, а потому, что понимал: нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за место в этом сталинском Политбюро.

Человек по натуре добродушный, Енукидзе любил приходить людям на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудачи приходила спасительная мысль обратиться к нему. ЦИК удовлетворял почти каждую просьбу о смягчении наказания, если только она попадала в руки Енукидзе. Жены арестованных знали, что Енукидзе — единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлял к ним врача, когда они или их дети были больны. Сталин обо всем этом знал, но, когда дело касалось Енукидзе, смотрел на такие вещи сквозь пальцы.

Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году, будучи с семьей в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице. Как-то, приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена Советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Енукидзе вынул бумажник и положил в нее стошиллинговую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов — очень немалые деньги.

Когда мы двинулись дальше, телохранитель Енукидзе, ехавший с нами, обратился к нему:

— Это же были белоказаки, Авель Софронович!..

— Ну и что же? — откликнулся Енукидзе, заметно покраснев.— Они тоже люди...

Помню, на меня слова Енукидзе произвели большое впечатление, хотя про себя я не одобрял такой экстравагантной щедрости. Я подсчитал в уме, что деньги, розданные Енукидзе в течение одной минуты, семье советского колхозника пришлось бы зарабатывать целый год. Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю все сходило с рук.

Енукидзе не был женат и не имел детей, хотя, казалось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Всю душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Сталина наиболее привлекательным человеком был, разумеется, не их вечно угрюмый отец, а «дядя Авель», который умел плавать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские чудеса.

Авель Енукидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены, Надежды Аллилуевой. Он дружил еще с ее отцом и знал ее буквально с пеленок. Во многих случаях, когда Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему приходилось играть роль миротворца.

Казалось, из всего сталинского окружения только у Енукидзе было надежное положение. Вот почему опала, внезапно постигшая его в начале 1935 года, поставила в тупик многих сотрудников НКВД и породила самые фантастические слухи. Впрочем, о некоторой неуверенности Енукидзе в своем будущем можно было догадаться, прочитав его статью в одном из номеров «Правды» за январь того же года. В этой статье Енукидзе сетовал, что в воспоминания некоторых авторов о большевистском подполье Закавказья вкралось немало ошибок и искажений, требующих исправлений. В частности, он сознавался в своей собственной ошибке, которая состояла в преувеличении собственной роли в руководстве бакинской подпольной организацией большевиков, причем это преувеличение попало даже в Большую Советскую Энциклопедию.

Правда, статья, где он стремился преуменьшить свою роль в закавказском подполье, уступая первенство Сталину, еще не доказывала, что он впал в немилость. Как раз в это время в Москве вовсю шла работа по фальсификации истории партии, целью которой было всячески выпятить Сталина как главного героя большевистского подполья. Многие полагали, что Енукидзе просто подает пример другим, как надо пересматривать и переписывать более ранние воспоминания. Случалось ведь, что в этих воспоминаниях старых большевиков Сталин вовсе не был упомянут или же ему уделялось совершенно недостаточное внимание, чего, разумеется, теперь нельзя было допустить.

Окружающие заметили изменение отношения Сталина к Енукидзе не так быстро, как это бывало в других случаях. Прежде всего потому, что Сталин пытался утаить свой конфликт с Енукидзе, вероятно, рассчитывая прийти к какому-то с ним соглашению. Даже «выселение» Енукидзе из Кремля не вызвало никаких подозрений. А произошло оно так: в середине февраля Сталин связался по телефону с секретарем Закавказского ЦК Лаврентием Берия и приказал ему ходатайствовать перед Москвой, чтобы товарища Енукидзе отпустили в Закавказье, поскольку имеется намерение сделать его председателем Закавказского ЦИКа.

Спустя несколько дней в «Правде» появилось сообщение, что Центральный исполнительный комитет СССР удовлетворил просьбу Закавказской Советской Федеративной Социалистической республики и, таким образом, тов. Енукидзе переводится на работу в Тбилиси. На первый взгляд могло показаться, что Сталин направил Енукидзе в Закавказье в качестве своего полномочного представителя. Но кое-кто из кремлевских обитателей знал, что Енукидзе отправлен из Москвы не с почетным заданием, а попросту отброшен пинком сталинского сапога. Впрочем, даже для этих немногих оставалось тайной, что же вызвало ссору Сталина с его близким и единственным другом.

Дорога от Москвы до Тбилиси, если ехать поездом, занимала трое суток — достаточно для того, чтобы Енукидзе еще по пути мог обдумать свое нынешнее положение и свое будущее. Мне кажется, Сталин ожидал, что по прибытии в Тбилиси Енукидзе напишет ему покаянное письмо, прося о примирении. В таком случае он будет возвращен в Москву, хотя, возможно, его и подержат некоторое время в Закавказье просто ради приличия. Так или иначе, в партийных кругах никогда не узнают, что между старыми друзьями произошла ссора, и уж тем более не догадаются о ее причинах.

Однако Енукидзе такого покаянного письма не написал, очевидно, решив про себя, что в положении первого человека в Закавказье он будет жить ничуть не хуже, чем в Москве. Тем более что он родился тут, на Кавказе,— с Кавказом были связаны лучшие страницы его молодости.

Сталин выждал несколько недель и, убедившись, что Енукидзе не намерен ему кланяться, решил поставить строптивца на колени более грубым приемом. Он приказал, чтобы Берия не занимался «выборами» Енукидзе на пост председателя Закавказского ЦИКа; пусть вместо этого ему будет предложена должность директора санатория в Грузии. Такой оборот дела можно сравнить с тем, как если бы человеку был предложен пост директора банка, но по прибытии в банк ему объявили, что для него имеется только должность рассыльного.

Большего удара по репутации Енукидзе нельзя было себе представить. После такого издевательского предложения многим в партии стало ясно, что у Енукидзе со Сталиным произошло нечто непоправимое. Грузинские сановники, с энтузиазмом встречавшие его на тбилисском вокзале, мгновенно перестали узнавать его на улице.

Енукидзе решил, что его отношения со Сталиным на том и кончены. Однако Сталин так не считал. Он не мог спать спокойно, когда им овладевала неприязнь к кому бы то ни было. Если уже упущено время, чтобы подержать Енукидзе на коленях как проштрафившегося друга, то оставалась еще возможность бросить его на колени как врага. Для таких случаев Сталин имел множество испытанных средств. Первое и наиболее безобидное, применявшееся по отношению к сановникам, попавшим в немилость, называлось «поставить на ноги», то есть лишить опального персону персональной машины и личного шофера. Следующее наказание называлось «ударить по животу»: нечестивца лишали права пользоваться кремлевской столовой и получать продовольствие из закрытых магазинов. Если речь шла о члене правительства, его к тому же выселяли из правительственного дома и лишали персональной охраны. Все эти меры одну за другой пришлось испытать и Енукидзе.

Просидев в Тбилиси месяца два, он возвратился в Москву. Разумеется, его не ждали тут ни в одной из правительственных квартир, которые предоставляются наиболее важным персонам, прибывающим в столицу с периферии. Он остановился в гостинице «Метрополь», где снимали номера рядовые советские чиновники, приезжавшие в Москву по делам, а также иностранные журналисты и туристы.

Ягода и другие сталинские приближенные пытались убедить Енукидзе, что ему следует пройти обычный ритуал покаяния и признать свои «грехи» перед партией. Енукидзе не согласился. Узнав об этом, Сталин приказал Ягоде собрать необходимые сведения и составить докладную для Политбюро.

Грехи Енукидзе были известны всем. Енукидзе и его приятель Карахан из наркомата иностранных дел имели репутацию своеобразных покровителей искусства — они покровительствовали молодым балеринам из московского Большого театра. Впрочем, в этом не было, собственно, ничего криминального. Оба они были интересными мужчинами, вдобавок кремлевскими шишками, и балеринам было даже лестно привлечь их внимание. К тому же не только Енукидзе, но, насколько я помню, и Карахан был старым холостяком, и наверняка не одна из юных балерин мечтала завлечь того или другого в брачные сети. Другой грех Енукидзе, как я уже упоминал, сводился к щедрой помощи женам и детям арестованных партийцев, с которыми он когда-то был дружен. Сталину все это было известно и раньше, но теперь он требовал представить эти факты в новом свете...

Главное обвинение, состряпанное Ягодой по наущению Сталина, состояло в том, что Енукидзе засорил аппарат ЦИКа и Кремля в целом нелояльными элементами. В этом не было и зерна правды. Проверка лояльности кремлевского персонала была обязанностью вовсе не Енукидзе, а НКВД. Но чтобы придать этому обвинению хоть какой-то вес, НКВД срочно объявил десятка два служащих из аппарата Енукидзе политически ненадежными и уволил их.

В числе кремлевских служащих была очень интеллигентная пожилая дама, работавшая здесь еще с дореволюционных времен. Это была совершенно аполитичная и безобидная особа, сведущая в вопросах хранения произведений искусства, все еще остававшихся в бывшем царском дворце на территории Кремля. Эта дама была единственным в Кремле человеком, помнившим, как должен быть сервирован стол для правительственных банкетов и официальных приемов. Она же преподавала простоватым супругам кремлевских тузов правила поведения в обществе, посвящала их в тайны светского этикета. Все, начиная от Сталина, знали о присутствии в Кремле этой дамы и не считали ее чуждым элементом. Но теперь, когда потребовалось напасть на Енукидзе, Сталин подал Ягоде мысль произвести скромную пожилую женщину в княгини и придумать целую историю, как она пробралась в Кремль при благосклонном содействии Енукидзе. Княгиня в сталинском Кремле! Сталин был мастером выдумывать такие маленькие сенсации.

Я припоминаю, кстати, и другой подобный случай. За восемь лет до этих событий, в 1927 году, Ягода доложил Сталину, что ОГПУ обнаружило и конфисковало гектограф, на котором группа троцкистов изготовляла антисталинские листовки. Гектограф был обнаружен с помощью некоего Строилова — провокатора, состоявшего агентом ОГПУ. Строилов обещал легкомысленным приверженцам Троцкого достать необходимый запас бумаги и другие материалы, нужные для работы на гектографе. «Ладно! — заявил Сталин Ягоде.— Теперь повысьте своего агента в чине. Пусть он станет врангелевским офицером, а в рапорте вы напишите, что троцкисты сотрудничали с белогвардейцем-врангелевцем».

Миф о кремлевской княгине появился на свет точно так же, экспромтом, как и пресловутая выдумка про врангелевского офицера.

На основании донесения, написанного Ягодой, комиссия партийного контроля исключила Енукидзе из партии «за политическое и моральное разложение». Решением комиссии, опубликованным в газетах 7 июня 1935 года, Енукидзе обвинялся в том, что он вел аморальный образ жизни, засорил аппарат Кремля и ЦИКа антисоветскими элементами и, кроме того, разыгрывая из себя «доброго дядю», покровительствовал лицам, враждебным Советской власти.

После этого Ягода, продолжая выполнять сталинские инструкции, предупредил Енукидзе, что, если он не сознается во всех своих грехах и не покается публично, его ждут новые обвинения, на этот раз уголовно-политического характера. Это означало, что Ягода угрожает Енукидзе тюремным заключением или даже смертной казнью, хотя я думаю, что Енукидзе до последнего момента не верил, что Сталин так расправится с ним. Впрочем, каковы бы ни были его соображения, он достаточно хорошо знал Сосо и, не считая возможным полагаться на его обещания, отказался клеветать на себя. Енукидзе мог позволить себе такую роскошь: ему не надо было бояться ни за жену, ни за детей.

Пока был жив Орджоникидзе, с которым Енукидзе и Сталин составляли дружественное грузинское трио, Сталин воздерживался от нанесения бывшему другу окончательного удара. Но в феврале 1937 года Орджоникидзе внезапно умер, и Сталин решил довести конфликт с Енукидзе до логического конца. В тех случаях, когда дело шло о мести, «логический конец», с точки зрения Сталина, мог означать только одно: физическое уничтожение противника.

Когда Енукидзе услышал от руководителей НКВД, что он обвиняется в измене Родине и шпионаже, он разрыдался. До этой минуты он, по-видимому, был уверен, что к нему Сталин не сможет применить свои крайние меры.

Следователи НКВД обращались с Енукидзе не столь жестоко, как с вождями оппозиции. Для расправы с оппозицией сотрудники «органов» тренировались и натаскивались в течение долгих десяти лет. А Енукидзе никогда не участвовал в оппозиции да вдобавок еще совсем недавно принадлежал к узкому кругу обитателей Кремля. Наконец, следователи считались с тем, что — чем черт не шутит — вдруг Сталин в последний момент помирится с Енукидзе, и тот, вернув себе прежнее положение, сумеет расправиться с теми, кто его мучил.

Своим следователям Енукидзе сообщил действительную причину конфликта со Сталиным.

— Все мое преступление,— сказал он,— состоит в том, что, когда он сказал мне, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновьева, я попытался его отговаривать. «Сосо,— сказал я ему,— спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно пострадали за это: ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Сосо,— сказал я,— они старые большевики, как ты и я. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков! Подумай, что скажет о нас весь мир!» Он посмотрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца, и сказал: «Запомни, Авель, кто не со мной, тот против меня!»

Неравная борьба Енукидзе со Сталиным была окончена. 19 декабря 1937 года в газетах появилось короткое сообщение: военный трибунал на закрытом заседании приговорил его, а заодно и Караханa и еще пятерых к смертной казни за шпионско-террористическую деятельность. Приговор тут же был приведен в исполнение.

ВЫШИНСКИЙ

Не зная закулисной стороны московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей. Полагали, что этот человек оказал существенное влияние на судьбу подсудимых. В таком представлении нет ничего удивительного: ведь действительные организаторы процессов (Ягода, Ежов, Молчанов, Агранов, Заковский и прочие) все время оставались в тени и именно Вышинскому было официально поручено выступать на «открытых» судебных процессах в качестве генерального обвинителя.

Читатель будет удивлен, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаясь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя.

Одно было ясно Вышинскому: подсудимые невиновны. Как опытный прокурор, он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочло нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях.

Вот, собственно, и все, что было известно Вышинскому. Главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указаниях, получаемых от Сталина, о методах следствия и инквизиторских приемах, испытанных на каждом из арестованных, или о переговорах, которые Сталин вел с главными обвиняемыми. От Вышинского не только не зависела судьба подсудимых,— он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них.

Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей — Каменева, Бухарина и многих других. Но они никогда не были друзьями Вышинского. В дни Октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикады. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне думается, многие из старых большевиков впервые услышали эту фамилию только в начале 30-х годов, когда Вышинский был назначен генеральным прокурором, а увидели его своими глазами не ранее 1935 года, когда их ввели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить за участие в убийстве Кирова.

Руководство НКВД относилось к Вышинскому не то чтобы с недоверием, а скорее со снисходительностью — так, как влиятельные сталинские бюрократы с партбилетом в кармане привыкли относиться к беспартийным. Даже инструктируя его, с какой осторожностью он должен касаться некоторых скользких моментов обвинения, они ни разу не были с ним в полной мере откровенны.

У Вышинского были основания ненавидеть этих надменных хозяев положения. Он понимал, что ему придется всячески лавировать на суде, маскируя их топорную работу, и своим красноречием прикрывать идиотские натяжки, имеющиеся в деле каждого обвиняемого. Понимал он и другое: если эти подтасовки как-нибудь обнаружатся на суде, то инквизиторы сделают козлом отпущения именно его, пришив ему в лучшем случае «попытку саботажа».

У руководителей НКВД, в свою очередь, были основания не любить Вышинского. Во-первых, они презирали его как бывшего узника «органов»: в архивах все еще хранилось его старое дело, где он обвинялся в антисоветской деятельности. Во-вторых, их снедало чувство ревности — к нему было приковано внимание всего мира, следившего за ходом сенсационных процессов, а им, истинным творцам этих грандиозных спектаклей, как говорится, «из ничего» состряпавшим чудовищный заговор и ценой невероятных усилий сумевшим сломать и приручить каждого из обвиняемых,— им суждено оставаться в тени!

Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключенного, Вышинский побаивался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской иерархии он занимал куда более высокое положение, чем, скажем, начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице. Что же касается Ягоды, тот и вовсе удостоил Вышинского только одной встречи за все время подготовки первого московского процесса.

Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжении всех трех процессов он все время держался настороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намек подсудимых на их невиновность. Пользуясь поддержкой подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевозможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более неуместны. Одновременно он не упускал случая превозносить до небес «великого вождя и учителя», а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни.

Ему самому очень хотелось выжить, и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все свои актерские способности, играл самозабвенно, ибо ставка в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамье подсудимых — невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы их ждет расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искреннее наслаждение, когда топтал остатки их человеческого достоинства, черня все, что в их биографиях казалось ему наиболее ярким и возвышенным. Выходя далеко за рамки обвинительного заключения, он позволял себе заявлять, что подсудимые «всю жизнь носили маски», что «под прикрытием громких фраз эти провокаторы служили не делу революции и пролетариата, а контрреволюции и буржуазии». Так поносил вождей Октября человек, который в октябрьские дни и на всем протяжении гражданской войны был врагом революции и Республики Советов!

С садистическим наслаждением оскорбляя обреченных на смерть, он клеймил их позорными кличками — «шпионы и изменники», «зловонная куча человеческих отбросов», «звери в человеческом облике», «отвратительные негодяи»...

«Расстрелять их всех, как бешеных псов!» — требовал Вышинский. «Раздавить проклятую гадину!» — взывал он к судьям.

Нет, он не был похож на человека, исполняющего свои обязанности по принуждению. Он обрушивался на беззащитных сталинских узников с таким искренним удовольствием не только потому, что Сталину требовалось свести с ними счеты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что, пока старая гвардия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом голоса, таким, как Вышинский, суждено оставаться париями.

Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях: мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те далекие времена, когда оба мы были прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке.

Я приступил к работе в Верховном революционном трибунале, а затем в Верховном суде задолго до того, как там появился Вышинский. В то время членами Верховного суда состояли почти исключительно большевики из старой гвардии; самым выдающимся из них был Николай Крыленко, сподвижник Ленина, первый советский главковерх (командующий всеми вооруженными силами). В состав Верховного суда входили также старый латышский революционер Отто Карклин, отбывший срок на царской каторге; бывший фабричный рабочий Николай Немцов, активный участник революции девятьсот пятого года, приговоренный царским судом к пожизненной ссылке в Сибирь; руководитель комиссии партийного контроля Арон Сольц, возглавлявший в Верховном суде юридическую коллегию; Александр Галкин, председатель кассационной коллегии, и ряд других старых большевиков, направленных сюда на работу, чтобы укрепить пролетарское влияние в советском правосудии.

Эти люди провели немалую часть жизни в царских тюрьмах, на каторге и в сибирской ссылке. Революцию и Советскую власть они не считали источником каких-то благ для себя, не искали высоких постов и личных выгод. Они бедно одевались, хотя могли иметь любую одежду, какую только пожелают, и ограничивались скудным питанием, в то время как многие из них нуждались в специальной диете, чтобы поправить здоровье, пошатнувшееся в царских тюрьмах.

В 1923 году Вышинский появился в Верховном суде в качестве прокурора юридической коллегии. В нашей бесхитростной атмосфере, среди простых и скромных людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был щеголеват, умел «подать себя», был мастером любезных расшаркиваний, напоминая манерами царского офицера. На революционера он никак не был похож. Вышинский очень старался завязать дружеские отношения со своим новым окружением, но не преуспел в этом.

Я занимал тогда должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховного суда. Все мы — прокуроры и судьи — раз в день сходились в «совещательную комнату» попить чайку. Часто за чашкой чая завязывались интересные разговоры. Но я заметил одну примечательную вещь: стоило войти сюда Вышинскому, как разговор немедленно затихал и кто-нибудь обязательно произносил стандартную фразу: «Ну, пора и за работу!»

Вышинский заметил это и перестал приходить на наши чаепития.

Хорошо помню, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошел и быстро притворил дверь.

— Я его терпеть не могу! — с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии.

— Почему? — спросил я.

— Меньшевик.— пояснил сидящий рядом Николай Немцов.— До двадцатого года все раздумывал, признать ему Советскую власть или нет.

— Главная беда не в том, что он меньшевик,— возразил Галкин.— Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот... он просто гнусный карьерист!

Никто из старых большевиков не был груб с Вышинским, никто его открыто не третировал. Если он о чем-то спрашивал, ему вежливо отвечали. Но никто первым не заговаривал с ним. Вышинский был достаточно умен, чтобы понимать, что старые партийцы смотрят на него как на чужака, и начал их избегать. Он привык целыми днями сидеть в одиночестве в своей комнате. В то время было очень мало судебных слушаний, и Вышинского в обществе других служащих можно было увидеть разве что на собраниях партийной ячейки и на заседаниях Верховного суда, где обсуждались правовые вопросы или разбирались протесты, внесенные прокуратурой по поводу судебных решений. Но я не помню ни одного случая, когда бы Вышинский выступил на партсобрании или пленарном заседании.

Старые партийцы из Верховного

суда, безусловно, не были мелочными людьми. Они легко примирились с тем, что Вышинский был когда-то меньшевиком, и готовы были даже смотреть сквозь пальцы на его враждебную нам активность в решающие дни Октября. Невозможно было простить ему другое: после того как революция победила, он все три года, пока шла гражданская война, все еще выжидал и, только убедившись, что Советская власть действительно выживет, подал заявление в большевистскую партию.

Как-то — дело происходило в 1923 году — я выступал с докладом перед членами Московского городского суда и коллегии защитников. Темой доклада были последние изменения в уголовном кодексе. Присутствовал и Вышинский, и мы вышли из здания Мосгорсуда вместе. Он сказал мне, что до революции намеревался посвятить себя юриспруденции и по окончании курса был оставлен при университете, но вмешалось царское министерство просвещения и лишило его возможности сделать ученую карьеру. Тут Вышинский сменил тему и заговорил о революции 1905 года. Оказывается, его тогда посадили на два года за участие в организации забастовок рабочих. Помню, это произвело на меня впечатление, я даже подумал, что, быть может, Вышинский не такой уж плохой человек. Потом выяснилось, что эту историю Вышинский рассказывал и другим членам Верховного суда. Он явно стремился завоевать наше расположение и прорвать изоляцию, в которой очутился.

В конце того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку «чистил» Хамовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавшаяся чисткой, состояла из видных большевиков, а возглавлял ее член Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительства двух других членов партии. Сдал автобиографию и Вышинский. В ней он указал, что при царском режиме отсидел один год в тюрьме за участие в забастовке.

Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возвращала предварительно отобранный партбилет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, да и вопросов им практически не задавали. Для них это была просто мимолетная встреча со старыми товарищами, заседавшими в комиссии. Некоторые из нас, более молодых, пройдя комиссию, не спешили уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступила очередь Вышинского. Для него это было серьезным испытанием: во время предыдущей чистки, в 1921 году, его исключили из партии и восстановили с большим скрипом лишь год спустя.

Прошло полчаса, еще час, еще один, еще полчаса, а Вышинский все не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ушел. Наконец, Вышинский выскочил, возбужденный и красный как рак. Выяснилось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трех часов за закрытой дверью. Он ушел в дальний конец вестибюля и там в волнении ходил взад и вперед.

Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбужденно воскликнул:

— Это возмутительное издевательство! Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет.

Было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить все с Крыленко или Сольцем. Сольц, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране.

Уже отойдя несколько кварталов, мы услышали сзади торопливые шаги. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горячо попросил нас никому не передавать его слов насчет ЦК. Мы обещали.

На следующий день встревоженная девушка-секретарша вошла в зал заседаний и сказала, что в кабинете Сольца истерически рыдает Вышинский. Перепуганный старик выскочил из кабинета, чтобы принести ему воды.

Арон Сольц стал революционером еще в конце прошлого столетия. Несмотря на то, что он подвергался бесчисленным арестам и провел много лет в царских тюрьмах и ссылке, душа его не ожесточилась. Он оставался добродушным, отзывчивым человеком.

Как член партии Сольц был обязан неуклонно придерживаться в своей деятельности принципа «политической целесообразности», которым сталинское Политбюро оправдывало все происходящее. Однако до седых волос Сольц так и не научился спокойно смотреть на несправедливость. Только в последние годы жизни ему пришлось под давлением всеобъемлющего террора повторить сталинскую клевету насчет Троцкого. Впрочем, под конец у него хватило мужества сказать Сталину правду в глаза, что его и погубило.

Друзья Сольца называли его «совесть партии», в частности, потому, что он возглавлял Центральную комиссию партконтроля (ЦКК) — высший в стране партийный суд. На протяжении нескольких лет одним из моих партийных поручений было докладывать этой комиссии о членах партии, находившихся под следствием, и меня сплошь и рядом восхищал человеческий, неказенный подход Сольца к этим делам.

Именно Сольц, с его добрым и отзывчивым характером, спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращен партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашел в нашу «совещательную комнату», где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся: «Чего вы от него хотите? Товарищ работает, старается... Дайте ему показать себя. Большевиками не рождаются, большевиками становятся. Не оправдает доверия — мы всегда сможем его исключить».

Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Как-то раз я заглянул туда — Вышинский как раз в это время делал доклад на тему «Обвинение в политическом процессе». Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приемами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения.

Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос. Но в общем становилось уже ясно, что это один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Мне начало казаться, что наши партийцы несправедливы к Вышинскому; оставалось надеяться, что со временем они изменят отношение к нему.

Однако вскоре произошел небольшой, но характерный эпизод, показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объема материалов Крыленко с согласия Политбюро привлекает к данной работе нас. Нам придется вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать.

В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, и Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование, обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжиривания секретных денежных фондов и что некоторые служащие подозреваются в сотрудничестве с иностранными разведками.

Крыленко попросил нас излагать свои выводы на больших листах бумаги в таком порядке: слева, под фамилией обвиняемого лица, мы должны кратко сформулировать суть обвинения и указать, достаточно ли имеется доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. Справа помечалось, куда следует передать дело: в уголовный суд, в ЦКК — либо решить его в дисциплинарном порядке, а также каким должно быть наказание.

Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содержали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга не ладившие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незначительная часть бумаг свидетельствовала о фактах растраты, моральной распущенности и других вещах, способных нанести ущерб престижу Советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили вовсе.

Все вечера Крыленко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-нибудь из нас и смотрел, как подвигается работа. Заглядывая через плечо Вышинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявшегося в чрезмерно роскошном образе жизни, сближении с женой одного из подчиненных и других грехах. Вышинский предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трем годам заключения.

— Как это так — три года? — недовольным тоном спросил Крыленко.— Вы тут написали, что он дискредитировал Советское государство в глазах Запада. За такое дело полагается расстрел!

Вышинский сконфузился и покраснел.

— Вначале я тоже хотел предложить расстрел,— подхалимским тоном забормотал он,— но...

Тут он запнулся, пытаясь подыскать объяснение. Не найдя его и окончательно растерявшись, он промямлил, что признает свою ошибку. Крыленко насмешливо уставился на него — похоже, что замешательство Вышинского доставляло ему удовольствие.

— Да здесь вовсе нет преступления! — неожиданно произнес он и, показывая пальцем на запись Вышинского об исключении этого дипломата из партии и предании его суду, заключил:

— Пишите: закрыть дело!

Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его еще больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом:

— Как вы меня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку... Когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это я так промахнулся и предложил только три года! А теперь... ха-ха-ха...

Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство гадливости.

Окончание следует.



Писать о ней и очень трудно, и очень легко. Трудно потому, что ее уже нет. И сейчас, когда утрата еще так свежа, это ощущение непереносимо. А легко потому, что она была удивительно добрым, светлым, славным человеком, которому при жизни, как это всегда бывает, мы не сумели этого сказать, не успели воздать должного.

Мириам Георгиевна Гринева пришла в «Огонек» в 1951 году еще девочкой, прямо со студенческой скамьи, и вся ее жизнь была связана с нашей редакцией и в ее хорошие, и в самые ее дурные дни.

Мира Гринева была и умна, и талантлива. Ее критические статьи — тонкие, изящные, глубокие — остались в памяти тех, кто их читал. И на этом пути она могла бы достичь многого. Но Мира избрала другую долю. В основном ее труд был невидным, малоблагодарным и, прямо скажем, непопулярным среди журналистов. Она была редактором, сотрудником отдела проверки: спасала журнал, спасала тех журналистов, имя которых у всех на слуху, от фактических ошибок, неточностей, стилистических ляпсусов. Это очень трудная работа. Здесь необходимы широчайшая образованность, эрудиция, внимательность, безошибочный вкус. В этом деле Мира Гринева достигла совершенства.

А еще она была верным, щедрым другом. Таким другом, что теперь, когда ее не стало, осиротела не только ее семья, осиротели и мы, ее давние и недавние друзья...

Мира была и останется для нас образцом интеллигента, человеком, дарящим другим свет правды, чистоты, благородства, образованности, бескорыстного служения близким и избранному делу.

РЕАЛЬНОСТЬ АБСУРДА

У многих картин пока нет названия. И если бы не вековечная выставочная традиция, московский художник Эдуард Шагеев, наверное, не стал бы давать имена своим живописным работам. Он считает это излишним. Пусть зритель по-своему трактует увиденное, опирается на приходящие вдруг ассоциации.

По-разному можно воспринимать его «Наследного принца» из серии «Семейное фото». Эта работа, пожалуй, наиболее емко отражает особенности поиска художника. Чье-то внимание привлечет здесь, конечно, историческая атрибутика сталинских времен, специфические детали композиции. Перед нами как бы зародыш авторитарного государства — семья, отравленная жаждой пресмыкания перед собой же созданным кумиром. Ироничность картины позволяет уйти от излишней мрачности гротеска.

Характерны и шагеевские «Марионетки», адское хитросплетение человеческих судеб, управляемых кем-то за сценой. Хозяин этого театра волен казнить или миловать своих актеров. Но и сами марионетки, подражая своему начальнику, берут на себя смелость лишать жизни себе подобных...

Свое направление художник определяет как «ироничный метафоризм». В его картинах вполне реальные предметы, человеческие фигуры, казалось бы, совершенно не сочетающиеся между собой, создают гармонию абсурда. И этот прием эффектно обнажает саму суть выбранной темы. Позволяет увидеть то, чего не замечаешь в обыденной логике жизни. Но это не «абстракции», существующие вне реалий жизни. Напротив, абсурдность некоторых художественных построений исходит из самого конкретного бытия. А замысловатые композиции напоминают некие символы рассудочного и чувственного восприятия мира человеком.

Подобным изучением образов подсознания художник увлекся сравнительно недавно. А вот ироничность была присуща его работам еще с давних времен Свердловского художественного училища.

Видимо, от природы художник не может не замечать смешного даже в самом серьезном. Даже графический цикл о гражданской войне не вписывается в рамки соцреализма.

А вскоре от ироничной графики Шагеев в конце концов пришел к ироничной живописи.

— Ирония,— говорит он,— позволяет мне определить баланс между догматизмом и релятивизмом, между добром и злом.

Андрей ШИТИКОВ

Э. ШАГЕЕВ. Род. 1944. «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ». 1983.





«САЛЮТ». 1985.

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ». 1989.





Юрий ГАЛАНСКОВ

(1939—1972)

Виктор НЕКИПЕЛОВ

(1928—1989)

Два поэта — две трагические судьбы. Ю. Галансков в юности написал так:

Да здравствует первый
подснежник,
Презревший опасность и холод!

Оба они, и Галансков, и Некипелов, оказались «подснежниками», презревшими холод, но он был настолько крут, что все-таки убил их, когда они высунулись из-под снега, надеясь на его таяние под обещавшими весну лучами. «Подснежниками» в Сибири издревле называли тела замерзших, что вытаивают из сугробов весной.

Их имена «вытаяли» из-под грязных расползающихся сугробов безвременья. Галансков учился в МГУ на истфаке, в историко-архивном, но так ничего и не окончил. Пошли фельетоны в газетах, где его обзывали «отщепенцем», дважды он побывал в психушке. Галансков участвовал в правозащитном движении, издавал рукописный журнал «Феникс». Осужденный в 1967 году на семь лет, он погиб в 1972 году в мордовском лагере.

Виктор Некипелов, окончивший химико-фармацевтический институт в Харькове, работал главным инженером на витаминном заводе в Умани, после — заведующим аптекой в Подмосковье. Но после того, как он начал распространять стихи, его стали таскать по судам и психушкам. Он был арестован дважды. После освобождения эмигрировал во Францию.

Виктор НЕКИПЕЛОВ

АЛАБУШЕВО

Не обижены судьбою,
Одарила нас удача:
Финский домик под Москвою —
То ли ссылка, то ли дача.
Все по чину и по сану,
По родимому закону:
В уголках — по таракану,
В потолках — по микрофону.
А на все четыре розы —
Елки, палки, галки, грузди!
Если вспять пошли морозы,—
Значит, нет причин для грусти!
Наслаждаемся природой,
Крутим пленку с Окуджавой,
Умиленные заботой
Нашей матери-державы.
С каждым днем нежнее, ближе
Узнаю ее натуру!
Кто-то топает по крыше —
Проверяет арматуру...
Ну и ладно, жребий брошен!
Мы живем и в ус не дуем,
По углам — буры накрошим,
Потолкам — покажем дулю!
Хоть без очень четкой цели,
Но живем своим укладом.
Если сильно дует в щели —
Затыкаем самиздатом...
Есть вопросы, нет ответа!..
Спорим, курим, ждем мессию,
Чтоб, проникшись высшим светом,
Вместе с ним спасать Россию.
А она не шьет, не строчит,
Пьет и пляшет, губы в сале,
А она совсем не хочет,
Чтобы мы ее спасали!

1971

НИНЕ

Как прожить
Это странное лето?
Н. ГУМИЛЕВ.

Как прожить эту странную зиму?
Вереницу метельных ночей?
Все слабее ряды побратимов,
Все наглее кольцо стукачей.

Ничего, мы сдадим наш экзамен!
Злой и гордой по-прежнему будь.
Не грусти, мы же выбрали сами
Этот трудный, но праведный путь.

И теперь мы не вправе сгибаться,
Отступать не позволено нам;
Улыбаться, всегда улыбаться,
Ненавидя, в глаза подлецам!

Январь 1972

Юрий ГАЛАНСКОВ

* * *

Ночь темна.
Луна.
Она, конечно, не одна.
И я совсем не одинок,
вот-вот — и прозвенит звонок.
Услышу в дверь условный стук,
вскочу, схвачу пожатье рук,
надену плащ,
и мы уйдем
почти
под проливным дождем.
Уйдем,
и, надо полагать,
идем кого-то низвергать.

1955 (?)

Публикация Е. Т. Галансковой

Юрий СМИРНОВ

(1933—1978)

Он родился в Макеевке, в Донбассе, по профессии был инженер-строитель. При жизни вышли две тоненькие книжки стихов; лиризм и ирония в них были неразрывны. Помню, стихотворение «Я изучаю микромир», напечатанное в «Юности», поразило свежестью рифм, молодой легкостью... Он так и запомнился молодым. Смерть его была мучительной и трагически-нелепой.

* * *

Я изучаю микромир.
Я постигаю макромир.
Я надеваю полимер
И оступаюсь в мокрый мир.

И хлещут ветки по лицу.
Взывает лес к покою дач.
Я попадаю в полосу
Моих зеленых неудач.

У станционного буфета,
Где пьют «перцовку» под боржом,
«Канадский бобрик» и «бабетта»
Стоят и мокнут под дождем.
Их судят все, тем паче мамы,
Концы сводящие с трудом.
Им непонятней панчен-ламы
Вот эти двое под дождем...

Российская интеллигенция
Всегда нуждалась в индульгенции —
То веря в бога, то безбожна,
Но вечно неблагонадежна.
Ее засовывали в крепости
За непонятные нелепости.
Режима всякого сатрапы
Ее гоняли сквозь этапы.
Она привыкла быть прослойкою,
В своих суждениях нестойкою,
Мир постигающей — в текучести...
И все ж не знаю лучшей участи.

1968

Борис БОРИН

(1923—1984)

Родился в Харькове, школу окончил в Москве. Фронтовик, полный кавалер ордена Отечественной войны, ордена Красной Звезды... Окончив Московский библиотечный институт, сотрудничает в редакциях московских журналов, затем уезжает на Север. При жизни у поэта Б. Борина вышли четыре книжки в Магадане, но имя его оставалось как бы за Полярным кругом. Его строки «Я вижу, как Иуда вырастает из никому не нужного Христа» поистине антологические, а стихотворение «Кардиограмма» поражает обнаженностью памяти, сквозь которую, как сквозь бинт, проступает живая кровь.

* * *

Когда у меня брали кардиограмму
и говорили при этом: «Не дышите.
Дышите. Так»,
жалко, что я не видел,
как самописец упрямый
зигзаги свои вычерчивает,
бесшумный и добрый чудак.
Ему бы теперь запнуться и сделать
здесь остановку,
ему бы не поскользнуться
на липкой моей крови —
это же в тело входит,
напористо и неловко,
осколок немецкой стали.
С зазубринами. Смотри!
Пожалуйста, поосторожней,
посторонись немного —
через секунду я в травы медленно
упаду.
Снаряд уже шепелявит,
падая на дорогу.
Его я увижу просто, как взорванную
звезду.
Записывай легкий посвист
пуль и стальных осколков,
которые миновали
солдата в огне фронтов,
записывай косноязычье
и бред госпитальный с толком,
записывай километры
кровавых моих бинтов...

* * *

Входили в мир
апостолами правды
мальчики
прямые, как лучи.
Откуда появились
бюрократы,
доносчики, ханжи и палачи?

Страницы лет,
как летопись листая,
вникаю в повесть каждого листа,
Я вижу, как Иуда вырастает
из никому не нужного Христа.

Александр ЦЫБУЛЕВСКИЙ

(1928—1975)

Русский поэт, родившийся в Тбилиси, тонко чувствовавший грузинскую природу и культуру. Учился вместе с Окуджавой на филфаке Тбилисского университета. В 1948 году был арестован по политическому обвинению. Вернувшись, работал в Институте востоковедения, занимался филологической исследовательской деятельностью в области грузинской поэзии, писал стихи и очаровательную поэтическую прозу. При жизни вышли две тоненькие книжки: «Что сторожат ночные сторожа», «Владелец шарманки». В нынешнем году издательство «Советский писатель» выпускает наконец большую книгу стихотворений этого тонкого лирика.

* * *

Когда рассвет — сквозь ставни —
тощий
Перебежит трамвайный путь,
Встаешь, и ласков мир на ощупь,
Но глубже страшно заглянуть.

* * *

Шар земной и Хлебников бездомный,
Без него — бездомный шар земной.
Есть кому и некому напомнить
Эту связь бессвязности самой.

* * *

Как эти линии покаты,
Как удивительны мазки!
О человечки, на плакатах
Архитектурных мастерских!

Те вездесущие фантомы
Проскальзывают в каждый дом.
И даже в нашем старом доме
Ваш керамический фантом.
И что с того, что по колено
Мне море жалкого тряпья?
И мы фантомы поколенья —
И ты — не ты, и я — не я.

А это значит — новый Некто
Гротеска пустит карусель,
Напишет заново «Шинель»
И Нос отправит по проспекту.

* * *

Пустяшный день.
Такой пустяшный день.
Но приглядись к нему,
Как он заполнен,—
Ведь даже малой сахарницы тень
Звала тебя навек ее запомнить.
И за стеклом сутулая спина...
Быть может, этот домысел мой
ложен,
Но что-то я забыл и вспоминал,
Как я делил тот жалкий хлеб
и ложе.

В журнале бронзовел Хемингуэй,
Там среди львов ютился лев
крылатый
О вещий признак настоящих дней,
Я этот день уже прожил когда-то.

И было так же пусто на ветру.
Пролет моста перемахнул я сразу,
Запоминая только краем глаза
Для дня другого черную Куру.

* * *

Опавших листьев ворох прелый
Передохнув, перемахнув...
Вдруг женский локоть загорелый
Явила бабочка, порхнув.

Но расцепившееся слово
Иным движением полно.
Оно несчастием здорово
И только радостью больно.



Вершители судеб...

Артем БОРОВИК

СПРЯТАННАЯ ВОЙНА

IV

Погода была паршивой. Вертолет мотало и трясло, словно грузовик на проселочной дороге: зубы отчаянно выстукивали чечетку.

Вместе со мной летел прокурор из бывшего кундузского гарнизона — человек с аккуратными черными усиками, быстрыми, внимательными глазами и слегка скошенным на кончике носом. Из одного кармана он достал портативный фонарик, из другого — мятый нераспечатанный почтовый конверт. Наведя на него луч жидкого желтого света, чертыхнулся:

— Сучьи сыны! Прокурорам не доверяют... Опять! — В голосе его слышалась тихая, сдавленная злоба.— Полюбуйтесь-ка...

Прокурор протянул мне конверт с жирным штампом: «Поступило со следами вскрытия. Оператор УФПС [1]».

— А вот предыдущее — от жены.— Он сунул юркую руку под ремень подвесной парашютной системы, крестом обхватившей его грудь, и достал из кармана пожухлый конверт. Я разглядел на нем другой штамп: «Поступило в грязном виде. Оператор №...»

— Как-то я не вытерпел,— опять заговорил прокурор, ища своими глазами мои,— вызвал фельда, отчитал его: «Что за хамство?! Я же прокурор, полковник, в конце концов!»

— А что фельд? — спросил я, возвращая конверт.

— Говорит, это не он читает, а служба в Алма-Ате... Вы, кстати, вооружены?

— Только этими двумя,— ответил я и показал два кулака.— А вы?

— Есесно! — лукаво улыбнулся прокурор и похлопал по кобуре. В ней лежал пистолет Стечкина.

Продолжение. Начало см. «Огонек» №№ 46, 49, 50.

[1] УФПС — Управление фельдъегерской почтовой связи.



Фото Николая АМЕЛЬЧЕНКО

— Лететь нам долго. Расскажите-ка про какое-нибудь интересное дело, которым вам пришлось заниматься.

— Боюсь,— махнул он рукой,— я вас разочарую. Не дают нам трогать крупных рыб. Разрешают — лишь мелочевку. Все сделано для того, чтобы не подпустить прокурора к настоящим преступлениям, к мафии.

— А дезертирами или пропавшими без вести вы не занимаетесь?

— Как не занимаемся? — встрепенулся полковник.— Конечно, занимаемся.

Я отодвинул шторку и глянул в иллюминатор. Казалось, небо и земля поменялись местами. Все пространство внизу было усыпано тысячами маленьких звезд, слабо мерцавших в ночи. Над головой же клубилась кромешная тьма.

— Скорее всего это Рабатак,— предположил полковник.

— А не Айбак?

— Может быть. Когда прилетим, я дам вам кассету с допросом одного из дезертиров.

— Сухаревская амнистия на него не распространяется?

— Политика политикой,— уклончиво ответил он,— а солдат в узде держать надо. Так-то.

— Что сейчас с Целуевским? — спросил я.

— Это тот, что вернулся прошлой осенью из США?

— Да.

— Его дело прекращено. Парень попал в психиатрическую лечебницу. Хотите чаю? У меня хороший, индийский...

— ...Хотите чаю, у меня хороший, индийский...— Рита Сергеевна Перелени, маленькая, чахлая, прежде времени состарившаяся женщина, разгладила видавшую виды скатерку на круглом столе и пошла неверной, шаткой походкой на кухню, в дальний конец коммуналки.

В этой московской квартире стойко пахло бедой и одиночеством. Жалобно скрипели половицы под старческими ногами ее обитателей. Холодно, в такт громыхавшим на дороге грузовикам, позвякивали замызганные стекла в окнах.

Юрий Сергеевич Кузнецов, брат Риты Сергеевны, прикрыв за ней дверь, опять сел в кресло и закурил горькую папиросу. Сморщив кожу на переносье, сказал почти шепотом:

— Знаете, сохнет она по нем. Истосковалась вконец. Я гляжу на сестру: у меня, у старика, сердце закипает. Последнюю рубаху отдам, только бы увидеть ее улыбку. Хоть разок...

Глаза его слезились. Но, вместо того чтобы вытереть их, он снял массивные очки и протер краем выпущенной рубахи толстые линзы.

— Учился он в школе номер восемьдесят три.— Юрий Сергеевич опять надел очки, ударил по ним пальцем, чтобы переносица лучше вошла в паз.— Знаете, тут неподалеку: восемнадцатый троллейбус, остановка «Школа»... Окончил восьмилетку, пошел в ПТУ. Потом работал на заводе «Салют». Одиннадцатого мая восемьдесят третьего Алешку забрали в армию. С тех пор ни она, ни я его не видели.

Я услышал шаги Риты Сергеевны. Остановившись, она поставила звякнувший крышкой чайник на пол, открыла дверь, опять нагнулась, взяла чайник, тихо вошла в комнату.

— Когда мы прощались на вокзале,— брат помог сестре расставить три чашки на столе,— бабушка Алешки навзрыд плакала.

— Двух других внуков провожала спокойно,— сказала Рита Сергеевна, доставая из рассохшегося буфета песочное печенье,— а Алексея моего — с ревом. Словно предчувствовала беду.

— Отбыл Алексей шесть месяцев в учебке,— по-стариковски вздохнул Юрий Сергеевич,— потом — Кабул. Потом — часть где-то в горах. Потом...

— Потом,— подхватила Рита Сергеевна,— 26 января восемьдесят четвертого года из Краснопресненского военкомата сообщили, что сын мой, Алексей Владимирович Перелени, пропал в Афганистане без вести.

Она закрыла лицо штопаным-перештопаным фартуком и сидела так несколько минут без звука и движения.

Юрий Сергеевич приставил указательный палец к губам:

— Тс-с-с...

За окном темнело. Августовский дождливый день шел на убыль. Он умирал, уступая место теплой, душной ночи, не обещавшей прохлады.

— Замаялась она,— сказал, помолчав, Юрий Сергеевич.— С утра до ночи работает в «Узбекистане», выпекает чебуреки. Там духота, крики, пьяные...

Женщина оторвала фартук от глаз, посмотрела на меня внимательно-жалко. Спросила чуть севшим голосом:

— Скажите, вы из КГБ?

— Не совсем,— улыбнулся я,— из «Огонька».

— Из журнала? — оживился брат.

— Из него самого.— Я попросил папироску.

— Так когда вы уезжаете в Америку? — Юрий Сергеевич встал с кресла и сел к столу. Отломив кусочек печенья, он макнул его в чай.

— Завтра. Очень хочу повидать вашего сына, но, к сожалению, у меня нет его адреса.

— Какой он, Алешка, теперь? — задумчиво произнес Юрий Сергеевич и подул в чашку.

— Возмужал, крупнее стал,— горделиво сказала Рита Сергеевна.— Вот его фотка. Он мне недавно прислал. Правда, малость подурнел с лица. Уж не мальчик. Любашка едва признала брата.

Она подошла к комоду, достала из хрустнувшего ящика картонную коробку. Бережно обняв ее руками, поднесла к столу.

— Видите,— она протянула мне несколько писем и цветную фотографию,— это мой Алексей... На фоне собственной машины и гаража в Сан-Франциско.

— Разбогател Алешка! — мотнул головой Юрий Сергеевич.

Было ли в этом движении больше гордости или же осуждения, я не понял.

— Если желаете,— улыбнулась Рита Сергеевна,— прочтите письмо. Там, кстати, адрес и телефон указаны...

Я взял из ее слегка дрожавшей, покрытой ранними пигментными пятнышками руки белый разлинованный лист бумаги с тремя фабричными дырочками на полях.

Бумага прохудилась на сгибах. Была она исписана еще не устоявшимся, школьным почерком. Я начал читать:

«Здравствуйте, дорогие мои Мама и Любашка!

Получил от вас письмо. Был очень, очень рад. Наконец-то за три года первый раз. Я очень рад, что все живы и здоровы. Любашку на фотографии я не узнал. Так изменилась. Стала красавицей. А ты, мама, похудела. А, в общем, выглядишь, как 11 мая 1983 года. Рад слышать, что бабушки живы и здоровы. Я работаю все так же — поваром. Уже многому научился. Очень люблю свою специальность. Такое ощущение, что я был рожден стать поваром. Готовлю французскую, итальянскую, китайскую, американскую кухни. Не мало, правда? Я жалею, что я не с вами, а то бы не дал Любе идти работать в 16 лет. У меня есть немножко опыта за плечами, и я советовал бы ей пойти в институт. Она неглупая, а образование откроет ей широкий путь в жизнь.

Ну а, в общем, она уже не малая. Голова есть на плечах — и неглупая. Пусть делает так, как считает нужным. Да, деревушку нашу жаль. Долго-долго я вспоминал дни, проведенные там. Но чему быть, того не миновать. Хорошо, что у бабушки все нормально. Да, кстати, почему ты не написала, как бабушка Саша? Что с ней? Вот я не ожидал, что Мишка так быстро женится! Интересно, я знаю ее или нет? Пусть напишет. Да, как Игорь Ореховский — помогает вам? Что с ним? Ну, пока и все. Вроде больше нечего писать, да я и не любитель расписывать драматические романы.

Живу я в Сан-Франциско. Все хорошо. Есть огромная квартира, гараж, машина. О чем мечтаю, мама? Наверное, ты должна знать это не хуже меня. Америка, Мама, это не моя родина. И этим все сказано.

Может быть, настанет время, и все мы встретимся.

Ну, пишите — не забывайте. И присылайте хоть по одной фотографии всех родных и близких. А также фото отца.

Ну, всех люблю и помню.

П. С. Жду Ирины адрес!

Алеша.

Посылаю фото».

В конце письма указаны его телефон и адрес. Я переписал их.

— Кто такая Ирина? — спросил я, отдавая конверт и письмо.

— Девочка его, невеста,— ответила Рита Сергеевна, сдерживая слезы.— Они встречались когда-то.

— Он просил ее адрес,— сказал я.

— Адреса у меня нет,— развела она руками.— Но телефон ее передайте Алеше.

Рита Сергеевна, надев очки, открыла истрепанную телефонную книжку на букву «И», протянула ее мне.

— Пока вы читали Лешкино письмишко,— просительно улыбнулся Юрий Сергеевич,— я настрочил ему ответ. Захватите?

Я кивнул и бросил письмо в свою сумку. Не забыл и про телефон невесты.

По оконному карнизу ковылял сизый голубь с розоватыми ободками вокруг строгих глаз.

— Знаете,— неуверенно начал Юрий Сергеевич,— вы с Алексеем поаккуратней. Он парень нервный.

— А что такое? — спросил я.

— Детство у него трудное было,— пояснил Юрий Сергеевич.— Ритина семья жила бедно. Муж любил выпить. Крепко бил ее. Даже когда она беременная была. Алешка рос, видел все это: сначала плакал, потом замкнулся в себе. Когда Лешке десять стукнуло, отец его сгорел.

— Как?

— Оголенный провод,— Юрий Сергеевич поставил чашку на блюдце,— высокое напряжение. Бывает...

— Он часто пишет вам? — спросил я Риту Сергеевну.

— Не очень,— сразу же отозвалась она.— Но иногда звонит. Последний раз я бросила трубку.

Она положила руки на острые колени и беззвучно заплакала, ткнувшись подбородком в грудь. Было в этой позе такое отчаяние, такое бессилие перед судьбой, что я невольно обнял ее за вздрагивавшие, узкие плечи.

— Тс-с-сс! — опять зашипел брат на другой стороне стола и поманил меня рукой.

Я сел ближе к нему.

— Понимаете,— шепотом объяснил он,— мы с Ритой думаем, что звонит нам из Америки другой человек, говорит голосом Алексея... Но это не Алексей.

— Кто же он, этот человек? — вторя Юрию Сергеевичу, шепотом спросил я.

Он пригнул голову к столу, почти касаясь его подбородком, сказал, обдав меня горячим дыханием:

— Видимо, из американской разведки...

— Но почему вы думаете, что это не ваш племянник? — рискнул поинтересоваться я.

— Понимаете,— ответил Юрий Сергеевич,— он говорил с каким-то едва заметным акцентом. Но Рита сразу же уловила его. Это во-первых.

— А во-вторых?

— Во-вторых,— уже чуть громче, уверенней сказал он,— в одном из писем Алексей поздравил мать с... Пасхой! Но ведь наш Алексей никогда и в церкви-то не бывал! Тут американцы, конечно, допустили ляп, непрофессионально сработали... Это невооруженным глазом видно.

Рита Сергеевна успокоилась. Она упрямо смотрела в окно. По ее лицу мелькали слабые блики света.

— И письма не его,— упавшим голосом сказала она.— Все написаны под диктовку. Я своего Алешку-то как-нибудь знаю. Не его письма.

— Честно говоря,— признался я,— не могу понять до конца вашу логику.

— Логика простая,— попытался объяснить брат.— После смерти отца Лешка остался единственным мужчиной в доме. Матери помогал во всем. Иной раз о друзьях забудет, но Риту — никогда... Вот он пишет, у него теперь машина, гараж, дом... Да если б это наш Алешка был, он себе бы отказал, но матери помог. Ведь знает, в какой нищете она живет!

— Как же ему вам из Сан-Франциско-то помочь? — опять не понял я.

— Денег бы выслал! — отрезал Юрий Сергеевич.

— В почтовом конверте?

— В почтовом конверте! — подтвер-

дил он. Немножко подумал и опять поманил меня пальцем:— Есть верный способ проверить — Алешка это или же его двойник-агент. Алексей в детстве посадил дерево рядом с нашим деревенским домом. Спросите того человека при встрече — что это было за дерево? А потом сообщите нам — вот мы и проверим...

— Хорошо... Скажите, когда вы получили первое письмо от Алексея? — спросил я.

— Давно.— Рита Сергеевна продолжала смотреть в окно.

Юрий Сергеевич барабанил пальцами по столу.

— Можно глянуть? — спросил я.

— У нас его нет,— ответил Юрий Сергеевич, смотря перед собой.

— Где же оно? — не унимался я.

— В КГБ,— сказала Рита Сергеевна.— Я сама отнесла его в КГБ в тот же день, когда получила.

— Зачем? — спросил я, чувствуя, как вянет мой голос.

— Эх, молодой человек,— посмотрел мне в глаза Юрий Сергеевич.— Были бы вы моим сверстником, испытали б то, что пришлось мне, не задавали бы этих вопросов...

Рита Сергеевна подлила себе в чашку воды из остывшего чайника.

— Хотите подогрею? — предложила она.

— Спасибо,— поблагодарил я.— Мне уже пора... Скажите, это русская фамилия — «Пе-ре-сле-ни»?

— Почему вы спрашиваете? — В глазах брата появился легкий налет страха.

— Любопытства ради. Впрочем, если не хотите, не отвечайте...

— Нет, почему же? — Юрий Сергеевич встал из-за стола и, упершись в него пальцами, глядя на сестру, объяснил:— Я думаю, что корни итальянские. Но, во-первых, это все было давно. А, во-вторых, фамилию Переслени носил Ритин муж. А он, как вы знаете, уже лет пятнадцать назад отошел в лучший мир...

— Может быть, вы передадите Алексею что-нибудь на память из дома? — Рита Сергеевна опять обняла картонную коробку, прижав ее к груди.

— Пожалуйста,— согласился я.— А что именно?

— Можно расческу...— Она принялась торопливо перебирать бумаги, документы и вещи, лежавшие в коробке:— Нет, расческу я оставлю себе... Она еще пахнет Алешиными волосами... Вот, если хотите, его профсоюзный билет, а?

— Давайте.— Я взял зеленую книжечку из ее рук.— Алексею, если наша встреча состоится, будет приятно подержать его.

— Вот тут есть фотография,— показала Рита Сергеевна.— Алеше на ней всего лет пятнадцать...

— ...Так что вы взяли с собой в Сан-Франциско профсоюзный билет, письмо от дяди и телефон любимой девушки? — спросил прокурор, демонстрируя профессиональную память и умение слушать.

— Да,— ответил я.— И еще текст сухаревской амнистии.

— А любимой девушке вы позвонили?

— Конечно. Но, к сожалению, ее не оказалось дома: Ирина отдыхала где-то на юге.

— Ну, не томите,— улыбнулся прокурор,— что же было в Сан-Франциско?

— Знаете,— сказал я,— это мне бы надо вас расспрашивать, а не вам меня. Я же журналист. Вот уеду с пустым блокнотом, а виноваты будете вы.

— У журналистов, прокуроров, следователей и разведчиков,— заметил он,— есть одна общая черта.

— Это какая же?

— Все они душу готовы запродать ради интересной информации...

Солнце взлетало над Сан-Франциско быстро-быстро, словно желтый воздушный шар. И уже часам к девяти утра город был до краев залит воскресным солнечным половодьем.

На западной его окраине шумел океан, тщательно вылизывая бежевые пляжи. Соленый ветер сквозняком носился по аккуратным улочкам, шумел в пальмовых листьях, гладил теплой ладонью лица людей.

Сан-Франциско показался праздником после долгих удушливых будней Нью-Йорка.

Схватив в аэропорту такси, я минут через тридцать оказался в центре города, на 16-й авеню. Сбросив скорость до пятнадцати миль, водитель, плавно шурша шинами, заскользил по ней на ветхом «додже». Он нажал на тормоз напротив дома № 1221, и автомобиль легонечко качнуло, словно на волне. Я расплатился и вылез из него, чувствуя, как яростно стучат маленькие молоточки в висках. Взгляд мой магнитом притянуло окно на втором этаже компактного особнячка. В его обрамлении я увидел бледное лицо и два внимательных, настороженных глаза.

Молоточки заколотили еще отчаянней. Холодной ладонью я вытер с затылка теплый пот. Медленно поднялся по ступеням на второй этаж. Позвонил. Дверь открылась без скрипа. Я увидел то же лицо и те же голубые, ломающие встречный взгляд глаза.

— Здравствуйте,— сказал я на всякий случай по-английски, не будучи уверен, что передо мной Переслени.— Вы Алексей?

— Да,— ответил он и зачем-то провел ребром ладони по белесым, в проталинках, усам.

Я представился и протянул ему руку. Его пожатие было слабым, неуверенным.

Из соседней комнаты вышел Микола Мовчан.

— Хай,— сказал он и улыбнулся.

— Привет! — поздоровался я, но на сей раз по-русски.— Какими судьбами на западном побережье?

— Путешествую,— ответил он, пожав плечами.

Судя по этому беззаботному жесту, можно было подумать, что он здесь проводит каждое утро, а вечером возвращается на Восток.

— Почему с Миколой ты говоришь по-русски, а со мной по-английски? — спросил Переслени. В голосе его сквозила смесь настороженности и обиды.

— Потому что с ним мы уже знакомы,— ответил я.— А тебя, Алексей, я знал лишь по фотографии. Боялся ошибиться.

— Проходи в ливинг-рум,[2] — пригласил он, открывая массивную, кофейного цвета дверь.

Гостиная оказалась просторной, светлой комнатой с камином, диваном и журнальным столиком. У широкого окна курил сигаретку чернявый крепыш лет двадцати пяти в потертых джинсах и нейлоновой куртке. Он поздоровался со мной, сунул в магнитофон кассету и прислонился спиной к белой стене. Через секунду запел Розенбаум:

Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Ты мой родительский дом.
Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Мы еще с тобою попоем...

— Пущай поет,— сказал крепыш.— Разряжает атмосферу.

— Мое появление сильно накалило ее? — спросил я.

Мовчан дружелюбно улыбнулся. Крепыш, который, как выяснилось, работал каменщиком-строителем здесь же, в Сан-Франциско, сдвинул и без того сросшиеся черные брови.

У камина стоял книжный шкаф, уставленный книгами на русском языке. Судя по названиям, почти все они были посвящены разным периодам российской истории. Автоматически взгляд сфокусировался на бежевой брошюрке, называвшейся «Николай Второй — враг масонов № 1».

Я продолжал разглядывать обстановку.

Гостиную и кухню разделяла небольшая темная столовая. В самом центре овального обеденного стола красовалась соломенная ваза с ананасами и апельсинами. На краю лежала помятая банка кока-колы.

— Долго будешь в Сан-Франциско? — спросил Мовчан.

— Нет,— ответил я.— Думаю улететь одним из сегодняшних вечерних рейсов.

— Думаешь или улетишь? — Не унимался он, вперившись в меня тяжелым взглядом.

— Улечу,— сказал я.

Мовчан и чернявый крепыш заметно успокоились.

Дослушав песенку, Мовчан хлопнул ладонями по ляжкам и резко встал с дивана.

— Ну,— сказал он,— нам пора. Дела, понимаешь...

— Понимаю,— согласился я.

— Ну, прощай!— Мовчан протянул руку.

Он еще раз улыбнулся и, обняв крепыша за плечи, вывел его из гостиной. Через минуту хлопнула входная дверь.

Переслени вернулся в комнату, поменял кассету в магнитофоне, уменьшил громкость, спросил:

— Что же тебя все-таки интересует?

— Твоя жизнь,— ответил я.

— Как видишь,— он иронично-удовлетворенно обвел глазами свою квартиру,— живем — хлеб жуем.— И засмеялся, румянея в скулах.

— Да,— согласился я,— квартирка и впрямь недурная. А где же гараж с машиной?

— Сейчас, видишь ли, их нет...— уклончиво ответил Алексей.— А откуда тебе известно об этом?

— Рита Сергеевна показала фотографию — ты на фоне машины и гаража. В письме ты тоже, если помнишь, об этом писал.

— Как мама? — вдруг спросил он, глядя в окно, нервно кусая ноготь.

— Юрий Сергеевич сказал, что за последнее время она сильно сдала. Я был у них перед отлетом из Москвы.

— Бедная моя мама...— Переслени подошел вплотную к окну, положив на стекло ладони, прильнув к нему щекой. Постоял так с минуту, резко повернулся.

— Садись на диван,— сказал он.— У нас времени мало: скоро Ленка придет — не даст нормально поговорить.

— Жена твоя? — спросил я, вспомнив про Ирину.

— Подруга...— махнул он рукой.— Жена... Какая разница. Так, живем вместе. Потом поглядим-посмотрим.

— Это все ты читаешь? — спросил я, кивнув на полки.

— Ленкина библиотека.— Он вскрыл банку содовой. Разлил воду по стаканчикам.— Но я тоже листаю. Интересно все это. В Союзе ничего подобного у меня не было. Само-, так сказать, образовываюсь... Ну, спрашивай валяй!

— Как приняла тебя Америка и как принял ее ты?

Переслени потер пальцами лоб, что-то припоминая.

— Прилетел я сюда осоловелый...— начал он.— Сам понимаешь. Плен. Дорога. Нервы... Сперва привезли нас в Нью-Йорк. Странно, знаешь, было ходить незнакомому среди незнакомых. Интересно, таинственно. Я бродил, заглядывал в окна, витрины, в лица... Сильно подействовал на меня этот сияющий холодными огнями реклам суровый город. Сознание как будто подернулось отупляющей пеленой.

Он ногтем мизинца сковырнул табачную крошку с переносицы, выпил еще воды, закурил.

— Ходил я по Нью-Йорку,— продолжал он,— и не знал, что делать: благодарить судьбу или проклинать... Благодарить — потому что меня вытащили из плена. Проклинать — потому что я оказался отрезанным от своего прошлого... Словом, привезли нас в Нью-Йорк и спросили: «Ребята, хотите в магазин — такой магазин, какого вы никогда в своей жизни не видели?» Мы сказали: «Валяйте ведите!» Привели. Заходим в огромный магазин — супермаркет. Все залито электрическим светом. Полки от продуктов трещат. Нас фотографируют, на магнитофон наши реплики записывают. Потом спрашивают: «Ребята, какое у вас впечатление от Америки?» Я ответил: «Ваши женщины умопомрачительно красивы, но русские еще лучше!» Они как-то кисло улыбнулись... Понимаешь, я столько лет — не дней, а лет! — женщин нормальных не видел, что обалдел именно от них, но не от обилия жратвы. Война и плен отбили нормальные юношеские чувства: просыпаясь утром в Афганистане, я думал не о женском теле, а о смерти, о том, сколько мне осталось жить — два часа, сутки, год?

Мягкой походкой он прошелся по комнате. Поставил другую кассету в магнитофон. Розенбаума сменила Пугачева. «Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты...» — пела Алла в доме № 1221 на 16-й авеню Сан-Франциско.

— Аме-ерика...— задумчиво произнес Переслени и хрустнул мослаками пальцев.— А что Америка?! Америка тебе дает опортьюнити[3]. Америка дает тебе пристанище. Америка учит тебя жить...

Он опять сел на диван и вдруг заплакал. Как ребенок — отчаянно, навзрыд, с всхлипываниями и слезами. Он не стеснялся их, не прятал. Разрешил им течь по щекам и падать на пол.

— Когда тебя бросают одного,— он смотрел на носки своих кроссовок, перехватывая рукой капельки слез в воздухе,— ты как птица посреди океана. Ты ищешь берег. Так вот и я... Попробуй пристань... Слава богу, что я пристал хоть к этому берегу. Слава богу... Ты видишь: я начинаю потихоньку обживаться. Вот это гнездо наспех с Ленкой свили... Получаю я достаточно.

Он несколько мгновений помолчал, отбросил волосы со лба, опять повторил:

— Все-таки достаточно... Но никогда ты не вырвешь из сердца то, что было в тебя вложено,— твою ро-ди-ну... Куда бы тебя ни забросило. В тебя это вло-же-но.

Переслени оттянул майку на плече, вытер ею красные глаза. Нитка клейкой слюны повисла на губе.

— Что для меня Америка?! — превозмогая судороги в груди и горле, спросил он сам себя тусклым неровным голосом.— Бул шит Америка[4] — бул шит, прости меня за это выражение... Хочешь, будем говорить по-английски? Я уже умею!

Он предложил это тоже как-то по-детски, словно приглашая меня поиграть с ним.

— Не хочу,— почему-то ответил тогда я.

— Факинг Америка![5] — голос его чуть сел.— Ай ноу ай доунт лайк зис шит![6] Но ай лайк американ пипл...[7] Факинг шит![8] Б....! После посещения магазина нас спросили: «Ребята, куда вы хотите ехать?» Я сразу же выпалил: «В Калифорнию!» Меня спросили: «Почему в Калифорнию??» «Да потому, что другого штата в вашей Америке просто не знаю!» — ответил я. Ну, словом, отправили меня в Сан-Франциско. Я приехал сюда. Здесь один мужчина меня встретил. В его доме я прожил несколько месяцев. Он же помог мне устроиться на работу. И вот стал я грузчиком. Грузил мебель, развозил ее, получал хорошие деньги. Мне все это очень нравилось. Но потом...

Зажмурившись, он зажал кончиками

---

[2] Гостиная (англ.).

[3] возможности.

[4] Дерьмовая Америка (англ.).

[5] Чертова Америка (англ.).

[6] Я знаю, что не люблю это дерьмо (англ.).

[7] Я люблю американцев (англ.).

[8] Дерьмо (англ.).

мизинцев виски, словно борясь с головной болью.

«Кто, не знаю, распускает слухи зря,— продолжала свой сольный концерт Пугачева,— что живу я без печали, без забо-от?..»

Визгнула, резко затормозив, машина на дороге.

— ...Но потом,— Переслени медленно опустил руки на колени,— я связался с наркоманами. Начал наркотики доставать. Мне стало лень работать грузчиком, бросил свою работу...

Я глянул на тыльную сторону его левого локтя, но не увидел ничего, кроме голубого ручейка вены.

— Как ты связался с ними?

— Не важно как... Все равно это дрянь, гадость, дерьмо, падаль, которую надо давить ногтем, как вошь!

— Что было дальше?

— Дальше я устроился работать портным, но одновременно стал учиться чинить компьютеры. И мне все это удавалось... Я хорошо освоил электронику. Я и сейчас смогу починить какой-нибудь компьютер, честное слово!.. Хочешь выпить? А то как-то пакостно на душе...

— Не откажусь.

— Тогда давай смотаемся в супермаркет. Это — пять минут...

В магазине Переслени долго шарил глазами по полкам, пока взгляд его не воткнулся в пузатую литровую бутылку водки. Шевеля губами и бровями, он читал надпись на этикетке.

— Финская...— удовлетворенно постановил Переслени.— Все-таки рядом с Россией. Теперь — огурчики!

Строгим взором обвел он взвод стеклянных банок на нижней полке. Выбрал одну, лихо подбросил ее пару раз:

— Почти что с Рижского рынка!

Я расплатился с кассиршей, и минут через десять мы уже поднимались на второй этаж дома номер 1221.

Вытащив несколько сосисок из холодильника, Алексей бросил их на раскаленную, политую кукурузным маслом сковороду. Обжарив их с одного бока, он автоматическим, привычным движением подбросил сосиски в воздух. Сделав сальто в метре над сковородой, они плавно опустились и легли на нее необжаренной стороной аккуратным рядком — затылком в затылок.

— В известном смысле,— сказал Переслени, когда мы сели за журнальный столик,— характер — это судьба. Попробуй как-нибудь на досуге понять свой характер — тогда ты сможешь вычислить собственную судьбу. Попробуй...

— По-моему, проще обратиться к гадалке.

— Ну,— он вдруг вонзил серьезный взгляд в стену напротив, чуть выше моей головы,— давай выпьем за судьбу России. Чтобы ей везло в будущем столетии. Поехали...

Алексей опрокинул стаканчик в рот. Выпил, не глотая.

— Хороша! — неожиданно перешел он на фальцет. Подумал. Скрестил сильные, чуть пухлые руки на груди. Заговорил обычным голосом:— Темная штука — судьба... Когда мне было лет семнадцать-восемнадцать, я был влюблен в Юрия Владимировича Андропова. Хотелось мне пойти в школу КГБ, служить потом в его охране личным телохранителем. Я очень любил этого человека. Помнишь, как он с Мавзолея выступал в день брежневских похорон? Холодно было, снег шел. Все члены Политбюро стояли в шляпах и шапках, а он один — с открытой головой. Ветер ворошил его седые волосы. Говорил Андропов проникновенно, честно. Ведь очень долго никто у нас так с Мавзолея не выступал... Он был сильным человеком: заставил страну работать во время рабочего дня. Я очень гордился, что Андропов стал Генеральным секретарем...

Переслени откинулся на спинку стула, сунул руки в карманы джинсов, мечтательно улыбнулся.

— Но судьба,— нахмурился он,— распорядилась иначе. Меня не спросила, бросила в Афганистан. Я был сержантом. В моем подразделении служили два казаха. Они ненавидели меня уже за одно то, что я москвич, били почерному. До потери сознания и чувства боли. И приговаривали: «Служила тут до тебя одна русский — тоже с Москва. Мы его перевоспитывай, как и тебя, потому что дурак, скотина! До тебя русский скотина ушла к душманам. Мы тебя перевоспитывай — ты тоже уйдешь!» Гнев их был страшен, а ярость — свирепа. Казалось, они хотели отомстить мне за все страдания своего народа. Я кричал: «За что, гады, бьете?!» Они смеялись в ответ, но били сильней. Сапогами, кулаками... В пах, в живот, по голове... У-х-х-х! Вспоминать больно!

Переслени зажмурился и коротко подрожал ноздрями. Вытер лицо ладонями, словно оно было мокрым.

— Они ненавидели меня еще до того, как встретили. Может, в этом и заключалось их жизненное предназначение. Ведь если бы не они, я не ушел бы из части, и мы с тобой здесь водку не пили... Мысль о том, чтобы уйти, подсознательно прорастала в моей голове во время и после побоев. Сами казахи вбивали ее в мои мозги, из которых они вытряхнули все, кроме этой спасительной мечты. Избитый, я ложился на пол, залезал под койку, чтобы не мозолить им глаза, и мечтал об уходе. Я мечтал сладострастно, с упоением. Моя мечта была моей местью казахам и судьбе. Я хотел жить только для того, чтобы когда-нибудь им отомстить. Другой цели у меня не было. В свои воспаленные мечты я вкладывал все свое воображение и вдохновение, все, что во мне было. И даже то, чего не было. Я улыбался, когда мечтал. Слезы счастья катились по моему лицу. Эх, горек мой мед!

Мы встали и молча поглядели друг другу в глаза. Я слышал свое и его дыхание. Рот Переслени кривился змейкой.

— Третий тост! — сказал он.

Мы выпили за парней, таких, как он и я, погибших в Афганистане.

— Словом, я ушел,— Переслени скользнул кончиком пальца по краю стола,— вернее, убежал после очередного побоя в виноградник, забыв автомат в части. Так что «духи» взяли меня, безоружного, тепленького. Они, кстати, тоже круто лупили меня — за то, что сдался в плен без АК... Уже через несколько дней я молил бога и командование сороковой армии: «Миленькие, освободите меня из плена! Я воевал за вас и еще хоть пять лет воевать буду!» Но никто не освобождал. Мой бог не слышал меня, и афганцы хотели заставить меня поклоняться их богу — Аллаху. А это жестокий Бог... Из меня хотели сделать мусульманина...

Он щелкнул пальцем по выключателю — в столовой зажегся свет, и я опять увидел мутно-серые слезы на его лице. Переслени продолжал:

— Я убежал из части не для того, чтобы перейти на сторону повстанцев. Я, веришь — нет, хотел пешком добраться до Италии. Считал, что там есть у меня родня. Думал, разыщу. В детстве, когда спрашивал мать, почему наша фамилия не Петров, не Иванов и даже не Тютекин, она отвечала мне, что, видно, какой-нибудь прадедушка мой итальянец. С тех пор образ итальянского прадедушки с каждым годом все больше обретал реальность в моей голове. Я хотел спрятаться в его замке где-нибудь в Неаполе от тех двух казахов... Но вместо Италии я попал в плен.

Переслени улыбнулся одними глазами, беззвучно зашевелил губами. Вернувшись из Неаполя в Сан-Франциско, а отсюда перенесясь в Афганистан, он сказал:

— Там, в Афгане, встречал других русских пленных. Некоторые были совсем детьми... Как же можно было надевать на них военную форму, кирзовые сапоги и посылать в Афганистан?! Как вообще можно детей-несмышленышей отправлять на войну?! Это же прес-туп-ле-ни-е! Пусть воюют тридцати-, сорокалетние — тоже, конечно, идиотизм, однако понять можно. Но не обманутые дети. Ведь нас же обманули и превратили в детский мясной фарш... Я-то хоть выбрался из него, а те, за которых мы пили,— они-то нет! Теперь я расплачиваюсь за вторично дарованную мне жизнь: расплачиваюсь одиночеством. Знаешь, что такое одиночество? Одиночество — это бесполое существо, которое иногда принимает облик человека в серой шляпе. Я привык к нему — он неплохой малый. Зла не делает: молчит себе, и все. А ведь в наше время не делать зла — это уже ой как много...

— Куда выведет тебя судьба дальше, ты пытался представить?

Переслени бросил на меня недоверчиво-настороженный взгляд.

— Я,— сказал он,— сжег корабль, на котором плыл. Старое кончилось, новое толком еще не началось. Я застрял где-то посередине. И мне сейчас до тяжести легко.

Алексей помолчал, пытаясь понять, верное ли сравнение подобрал.

— ...До тяжести легко,— повторил он.— Да, именно так: и тяжело, и легко одновременно... Бывает так...

Хлопнула в прихожей дверь, и в гостиной раздались быстрые женские шаги.

— Ленка пришла! — выпалил Переслени.

— ...Она русская? — спросил прокурор, хлестанув меня по лицу острым, быстрым взглядом.

— Вроде да,— ответил я.

— Сколько лет?

— Понятия не имею. Но постарше Переслени.

Вертолет начал снижаться, слегка накренившись носом вниз: автомат прокурора заскользил по сиденью вдоль борта в сторону кабины экипажа. Полковник ловко поймал его за приклад.

В овале иллюминатора теперь рябили звезды, сливаясь с огнями кишлаков.

...Показавшись в дверном проеме, Лена глянула на меня исподлобья. Ее березово-белое лицо с крохотной черной родинкой на щеке чуть выше губ было взволновано. Густые брови сошлись в тревожную линию.

— Добрый день,— сказала она.

— Добрый,— ответил я.

— Лен,— сказал Алексей,— видишь, мы работаем. Интервью...

— Ах, бож-ж-же ж мой! — метнула она быстрый взгляд на бутылку.— Я-то вижу, как вы работаете!

— Ты надолго домой, Лен? — спросил сникший Алексей.

— Еще не знаю,— ответила она и прошла на кухню.

Когда дверь за ней закрылась, Алексей шепнул:

— Пойдем в парк — там договорим.

Мы незаметно прошмыгнули на улицу, прихватив с собой закуску и остатки водки.

Сумерки тронули душистый парковый воздух легкой фиолетовой краской. Было часов шесть вечера. Стайки горожан в спортивных трусах и майках трусили по аллеям. Темно-рыжее солнце пряталось в пальмовых листьях. Приятно было слушать журчание искусственных водопадов и ручьев, змеившихся в стриженой траве.

— Сядем здесь? — Переслени кивнул на свободную лавку под высоченной лиственницей, иглой впившейся в небо.— И вид на город отсюда хороший... Ты, кстати, на Ленку не обижайся. Она, видишь ли, уверена, что ты из КГБ. Боится тебя.

— Даже если и предположить такое, как я могу ей угрожать?

— Не ей, а нам. Понимаешь, она уже пыталась сколотить семейное счастье с одним парнем, тоже прошедшим через афганский плен. Из-за разных обстоятельств не вышло: нервы, подозрения и все такое, о чем нет охоты сейчас говорить. Ленка боится, что из-за тебя может рухнуть наш с ней карточный домик, что я уеду в Россию...

— Я не обижаюсь на нее,— сказал я, пытаясь убедить в этом самого себя.

— Вот и вери гуд [9]! — обрадовался Переслени.— На чем мы с тобой остановились?

— Ты рассказывал про наркотики.

— Ага — вспомнил...

— Но не афганский же чарс ты здесь потреблял? — попытался пошутить я, чтобы согнать с его лица набежавшую волну подавленности.

— Нет, тут ребята используют препаратики покрепче... Словом, я оказался опять в плену. На сей раз — у наркотиков. Приступы тоски и депрессии стали одолевать меня все чаще. Каждый вечер наведывался человек в серой шляпе. Я чувствовал смрадное дыхание одиночества. Я по-настоящему боялся за себя. Словом, как-то раз в вербное воскресенье пошел я в здешнюю православную церковь. Познакомился с русскими, сошелся с ними поближе. Они и посоветовали ехать обратно в Нью-Йорк — учиться в семинарии при православном монастыре. Последний раз судьба протянула мне руку помощи. Я ухватился за нее из последних сил.

За спиной раздавался шорох первых палых листьев. Вечер уверенно завладевал городом. Видно было, как на глазах густеют сумерки.

— Семинария мне помогла. Душа моя окрепла. Про наркотики забыл. Там я понял: чем дальше от людей, от мира, тем ближе к Богу. Однако я не хочу Бога без мира, а мира без Бога... Начал читать книги по российской истории, увлекся русской философско-религиозной мыслью. Глотал страницы, коченея от тех бездн, что вдруг открывались мне. Много размышлял над тем, что произошло с Россией в октябре 17-го. Парадокс заключается в том, что, разрушив самодержавие, у нас через тридцать лет опять воссоздали его. Если бы в пятидесятом году состоялась коронация Сталина, это было бы воспринято страной как нечто само собой разумеющееся. Я вот о чем иногда думаю: если бы России была дана возможность развиваться в этом веке на основе самодержавия, православной церкви и молодого, неудержимого капитализма, она была бы сейчас впереди Америки — уж поверь! Но такая перспектива пугала: тогда-то и выпустили большевиков из бутылки... Ну что — приговорим пузырек к смертной казни?

Переслени улыбнулся и кивнул на остатки водки. Выплеснув ее в пластиковые стаканчики, он оглянулся по сторонам. Трусившие вдоль дорожек поджарые американцы с удивлением наблюдали за нами.

— Водка — тоже спорт! — переводя дух после большого глотка, прохрипел Переслени. — Они, идиоты, не понимают.

Словно желая еще больше шокировать пуританствующую Америку, Переслени встал с лавки, принял позу оперного певца и запел низким грудным голосом:

Широка-а-а страна моя родная!
Много в ней больших концлагерей!

Зааплодировав самому себе и раскланявшись на три стороны, он сел.

— В Афганистане,— Алексей посерьезнел,— я видел, как люди боролись друг с другом за будущность страны. Десятки стран сегодня борются за будущность мира. Я же предпочел уйти в семинарию и бороться с бесами только за самого себя. Каждый должен следовать за Богом в меру своего разумения. Там я понял, как далеко христианство от Христа, а коммунизм — от коммунистической мечты... Россия сегодня стоит на пороге новой веры или философии — называй, как хочешь. Мир

[9] Очень хорошо (англ.).

прошел уже через религию Бога — Отца. Он познал религию Бога — Сына. Настал черед религии Бога — Духа Святого. Верю, что она выйдет из России.

Мысль его металась из стороны в сторону, словно птица в комнате. Говорил он быстро, глотая слова, изредка облизывая сухие губы. Глаза Переслени горячечно блестели.

— Россия,— продолжал он, схватив меня за руку,— вечно шарахалась из стороны в сторону, едва поспевая за своей интеллигенцией. Возьмем для примера девять лет войны в Афганистане. Страна перескочила от убеждения, что «война — это святое, патриотическое дело», к уверенности в том, что «война — это ад, мерзость и позор», не только без каких-либо сомнений, но и без всякой промежуточной стадии. А как будет думать она завтра утром? Ты знаешь? Я — нет. И все же, куда бы Россию ни повело, она все равно останется сильной, великой. Конечно же, не из-за армии. Из-за веры. Для русских вера — чудо, для американцев — рутина и тоска. Вот в этом вся разница... Я не столь примитивен, чтобы считать Америку символом и средоточием прогресса. Критерием развитости общества служит его умение распознавать зло, природу зла. С Добром все ясно. Оно неизменно, как заповеди Христа. Но зло: каждый век оно меняет личину, вновь и вновь загадывая нам головоломную загадку. Человечество много тысяч лет тому назад начало партию в шахматы с дьяволом. То он нас загоняет в угол, то мы его: шах, жертвуем королевой и принципами, офицером и армией, атакуем, бессмысленно рокируемся, ход конем, пат! Дьявол знает миллион этюдов и защит, а мы — только те, на которых споткнулись и расшибли себе лоб...

Окровавленный краешек неба на западе отчаянно боролся с наступавшей ночью за жизненное пространство. Казалось, кто-то случайно разлил там, над горизонтом, красное вино. Тяжелые тучи бесшумно ворочались над нашими головами, грозясь проливным дождем. Было ощущение, что если он и пойдет, то непременно кровавый.

— И долго ты проучился в семинарии? — спросил я.

— Год. Вернулся потом сюда,— сказал Алексей и закурил.

— Здорово они его за один год накачали! — заметил прокурор и покрепче ухватился руками за сиденье, чтобы не свалиться на днище при посадке вертолета.

— Пошли домой.— Алексей глянул на небо.— Сейчас ливанет.

— Во темень найбабадская! Так ее и разэтак! — чертыхнулся прокурор, когда все три колеса МИ-8 коснулись железных плит вертолетодромчика.

Мы встали и пошли: с Переслени — домой, на 16-ю авеню, а с прокурором — в расположение части.

— ...Приехав в Сан-Франциско,— продолжал Переслени,— я вскоре сошелся с Ленкой. Совершенно случайно. Мне как-то позвонили знакомые и спросили, не хочу ли я познакомиться с Сашей, с Александром Вороновым — тоже бывшим военнопленным. Я, конечно, обрадовался. Дали мне его адрес. Рванул к нему. Там-то и увидел Ленку. Ну у нас с ней закрутилось-понеслось. Одним словом, роман. Ерундовый, конечно, но роман. Однажды она мне говорит: «Слушай, у меня с мужем плохо получается. Если хочешь, давай снимем с тобой квартиру». Вот мы и сняли. Нравится?

Я кивнул, продолжая думать о Воронове. Парень этот тоже жил в Сан-Франциско, но оказался в тюрьме. По официальной американской версии — из-за ограбления старухи. По неофициальной — из-за мании преследования. Говорят, опекуны Воронова здорово накачали его рассказами о КГБ. Агенты этой спецслужбы мерещились ему всюду. Однажды вечером он шел по улице. Сразу за ним — пожилая парочка. Решив, что ему на хвост прочно села советская разведка, принявшая лик старика и старухи, Воронов с кулаками набросился на парочку.

...Незаметно мы оказались у дома Переслени. Дверь открыла Лена. На сей раз она была чуть более приветлива, чем утром, хотя, если честно, ненависть ко мне по-прежнему плескалась в ее красивых глазах.

Почему-то я всегда приходил в восторг от тех женщин, которые ненавидели меня особенно люто. Сколько я ни рылся в своей душе, никогда не мог объяснить этот парадокс. Думаю, что и папаша Фрейд сломал бы зубы, попытайся он разгрызть этот орешек, который, видимо, Лена разнюхала своим женским чутьем. И потому демонстрировала мне свою ненависть открыто, с гордостью. Словно роскошный особняк.

— Ленк,— спросил Алексей,— отвезем журналиста в аэропорт?

В ответ она громыхнула посудой на кухне.

— В нашем распоряжении еще час,— подсчитал Переслени, глянув на часы.— Кофе выпьешь? Отлично... Во-первых, я не люблю опаздывать, во-вторых,— гнать. Но то, что во-первых, не люблю еще больше, чем то, что во-вторых. Шутка!

Мы сели за журнальный столик. Из кухни вкусно пахло бразильским кофе. Переслени закурил, и тлевшая крошка табака упала ему на штаны. Соорудив пинцет из ногтей указательного и большого пальцев, он удалил пепел с аккуратностью хирурга, оперирующего на человеческом мозге.

За окном сверкнуло, словно кто-то сфотографировал нас при помощи вспышки. Через несколько мгновений где-то на западе Сан-Франциско ухнула гаубица.

— Как услышу гром,— Переслени прикрыл окно,— сразу же перед глазами Афганистан.

Пошел дождь, и несколько брызг упало мне за шиворот.

— Завтра на работу? — спросил я.

— Да,— ответил он.— Встану, как обычно, в шесть утра. Дорога занимает сорок минут: хожу пешком. К семи должен быть на месте.

— Где?

— В ресторане «На все времена» — «Фор ол сизонс». Я ведь повар. Очень люблю готовить. Мои хозяева — неплохие люди...

Почему-то резануло словосочетание «мои хозяева». Быть может, потому что никогда за двадцать семь лет своей жизни я не произносил этих слов. (Мой хозяин не конкретный человек, а система.) И сделаю все, чтобы не произнести в будущем. Гигантский смысл скрыт в этом словосочетании. С определенной точки зрения — смысл многого из того, что происходило на земле на протяжении всей человеческой истории.

Переслени вернулся из кухни с кофейником в руках. Присев на диван, он стал разливать дымящийся кофе по чашкам. Я с нетерпением ждал, что скажет он дальше. Он молчал, а перед моими глазами вставали и кружились, словно в калейдоскопе Брюстера, тысячи лиц людей, умерших и еще живущих, жаждавших власти и мести, революций, переворотов, светлого будущего для миллионов,— людей, готовых погибнуть за онтологический аргумент, видевших абсурд жизни, но не веривших в него, принимавших его не как печальный и безысходный вывод, но как исходную точку, и потому сосланных, повешенных, расстрелянных, замученных или же (если повезло) захвативших власть и оказавшихся в положении тех, кого надлежит свергать...

— ...Мне нравится работать у них,— продолжал Переслени, потягивая кофе,— но я и сам хочу быть шефом. Я уже почти шеф. Поверь мне! Если бы я сейчас жил в СССР, уже давно был бы шефом. И это не пустые мечты. У меня есть знания и хватка. Я пробьюсь — увидишь! Приезжай через пять лет — я буду всесильным миллионером. Сейчас необходимо поднакопить денег — тогда можно будет самому открыть ресторанчик. А потом — целую сеть, а?!

— Я искренне желаю тебе успеха.

— Ведь как хорошо, как хорошо, что мама в детстве научила меня готовить! Какая она у меня умница!.. Так что я заработаю. Обязательно заработаю много денег. Уже сейчас у меня приличная зарплата. Вдобавок мы трясем время от времени еврейские лавки... Но об этом — никому!

— Алексей, мне пора.

— Погоди, мы довезем тебя — Ленка гоняет быстрее звука.

Я достал из кармана письмо и положил его на стол.

— Это от дяди,— сказал я.

Он ловким движением вскрыл конверт, принялся читать. Глаза его забегали из стороны в сторону. Я сделал несколько больших глотков кофе, теперь уже остывшего и не обжигавшего рот. Алексей сложил письмо, скользнув ногтем по сгибу.

— Что-то,— медленно и хмуро сказал он,— дядя стал шибко политикой увлекаться. Газеты, понимаешь, цитирует... Скажи честно — ему надиктовали?

— Юрий Сергеевич писал то, что ты сейчас прочитал, при мне. И никто не заставлял его это делать.

Удостоверившись, что дверь на кухню плотно закрыта, я протянул Переслени бумажку, на которой шариковой ручкой был написан телефон Ирины.

— Ты в своем письме к матери просил сообщить адрес Ирины, но Маргарита Сергеевна адреса не помнит. Она дала мне вот этот телефон. Я звонил, но не застал Ирину дома — она где-то отдыхала.

— Тебе дали этот телефон в КГБ,— холодно постановил Переслени.— Я-то уж знаю. Ты сам-то капитан или уже майора получил?..

— Вот это да! — хлопнул себя ладонью по щеке прокурор, когда мы подходили к КПП.— Запугали же, черти, парня! Значит, так и спросил — капитан ты или уже майор?!

— Так и спросил,— улыбнулся я.

— А ты сообщил ему, что его родная мать полагает, будто он пишет ей письма под диктовку ЦРУ? — спросил прокурор.

— Нет,— ответил я.— Сын и мать доведены шпиономанией почти до помешательства. К чему было подбрасывать дрова в и без меня полыхавший костер?

— Зря,— сказал прокурор.— Следовало сообщить... Так что же ты все-таки ему ответил?

— Если один человек убежден в том, что второй человек — верблюд, второму бывает очень трудно доказать обратное,— ответил я...

...Переслени поглядел на меня исподлобья.

— Впрочем,— сказал он,— мне все равно, кто ты — гэбист или журналист. В любом случае приятно поговорить с человеком, приехавшим **оттуда.**

— Если не хочешь брать телефон, давай его обратно.

Он ничего не ответил, но бумажку с телефоном поглубже упрятал в карман. Лена забрала чашки со стола и понесла их на кухню. Когда дверь захлопнулась, Переслени сказал:

— Как-то я был у приятеля на парти[10]. Мы переписывали кассеты, пили чай... Девчонок не было. Я говорю: «Без женщин нельзя!» «Давай,— отвечает он,— позвоним моей подружке, пригласим ее и попросим взять с собой какую-нибудь симпатичную девчонку. Идет?» Я обрадовался. Словом, скоро появляется его Ирина с приятельницей. Бог мой — это за Ирина! Мы знакомимся с ней, а я чувствую, что уже по уши ин лав[11]... Понимаешь, я впервые полюбил по-настоящему красивую женщину. Роскошная коса на спине, большие глаза, чистый лоб, алые губы...— я медленно, но верно сходил с ума. А потом мы гуляли с ней по свежему снегу вдоль Москвы-реки. Я волновался, хотел жутко курить. Стрельнул сигаретку у водителя грузовика. Но Ирина сказала, что, если я посмею закурить, она начнет раздеваться... А ведь мороз стоял, снег кругом. Словом, она победила. Мы бродили с ней до вечера, а меня не покидало тягостное предощущение разлуки. С тех пор она так и осталась в памяти — недосягаемо-прекрасной. Первой и последней. Самой дорогой на свете. Ты мне больше не напоминай о ней — не то опять, как баба, разревусь... Ладно?

Мне хотелось успокоить его, но я не знал, как.

— Знаешь,— сказал я и положил руку на его плечо,— по мне уж лучше страдания неутоленной любви, вечная скорбь и тоска, чем неизбежное разочарование и цепь предопределенных банальностей. Да, чуть не забыл...

Я еще раз порылся в нагрудном кармане куртки и выложил его старенький профсоюзный билет. Сказал:

— Это тебе на память. Маргарита Сергеевна просила передать.

Алексей раскрыл книжицу и, глянув на фотографию, рассмеялся:

— Какой же я здесь дурак! Ах, дурак! И ничего еще не знаю о том, что случится со мной всего через год... Бедный, глупый мальчик... Знаешь, вместо профсоюзного билета ты бы лучше привез мне веточку рябины... Я когда-то рябину посадил у нас в деревне под Москвой. Хотя,— он махнул рукой,— деревню снесли и рябину, должно быть, тоже не пощадили. Ну, пора ехать!

...На пути в аэропорт мы заехали в сан-францисскую православную церковь. Она одиноко стояла посреди огромного шумного города. Омытая теплым вечерним еще моросившим дождем. Окутанная туманом и темнотой. Внутри было тепло и сладковато пахло топленым воском.

Переслени подошел ближе к алтарю, и я краем глаза увидел, как зашевелились его губы:

— И крестом святым... Пречистая... Пресвятая... раба Божия... упование мое...

О чем просил Переслени Бога в тот теплый августовский вечер под шум дождя и потрескивание свечей? Услышал ли Господь его молитву? И если да, то как рассудил?

Приблизительно через две недели в генеральное консульство СССР в Сан-Франциско позвонил человек, назвавшийся Алексеем. Он просил о встрече. Сказал, что находится в закрытой для советских людей зоне Сиэтла. Однако дело было в пятницу вечером, и консульские работники уже собрались расходиться по домам. Человеку, назвавшему себя Алексеем, предложили связаться с консульством в понедельник утром.

Но он больше не позвонил.

* * *

Ирина недавно вышла замуж. По-прежнему живет в Москве, и, как говорят, брак ее счастливый. Но иногда — раз или два в год, когда странная тоска опускается на сердце, она подходит к телефону и, убедившись, что поблизости никого нет, звонит Маргарите Сергеевне. Они обмениваются новостями, долго разговаривают, вспоминая былое, и прощаются до следующего Ирининого звонка. Повесив трубку, Маргарита Сергеевна достает из комода картонную коробку и, беззвучно — чтобы не потревожить соседей — плача, перебирает вещи, оставшиеся от Алексея,— расческу, комсомольский билет, носовой платок... Ирина же спешно прячет в сумочку книжку, где записан телефон женщины, которой не суждено было стать ее свекровью, и идет хлопотать по хозяйству.

---

[10] Парти — вечеринка (англ.).

[11] Ин лав — влюблен (англ.).



■

Обратил внимание, что при обсуждении на сессии Верховного Совета СССР вопроса о плане и бюджете на 1990 год многие депутаты как о чем-то очень естественном говорили о XIII пятилетке.

Известно, что из двенадцати пятилеток в полном объеме не была выполнена ни одна. Сколько же пятилеток надо не выполнить, чтобы прийти к выводу о порочности пятилетнего планирования?

Бюрократическая игра в пятилетки, основные ее правила зародились в ближайшем окружении «отца народов», и с самого начала их назначение было служить «светом в конце тоннеля». Правда, когда неумолимый ход времени приводил на очередную станцию, выяснялось всякий раз, что это вовсе не конец тоннеля, и тогда под фанфары принималась очередная пятилетка и объявлялось, что вот уж теперь-то... Был разработан целый арсенал средств, позволяющих постоянно гнать поезд вперед. Например, если выяснялось, что поставленные задачи нереальны, объявлялось, что за 4 года выполнены основные задачи пятилетки (по строительству заводов-гигантов, по ухлопанным средствам), а о «второстепенных», вроде уровня жизни народа или развития социальной сферы, предпочитали просто не вспоминать. При этом главной задачей ЦСУ стал поиск несопоставимых показателей по плану и отчету: если прирост выпуска тракторов планировался в физических единицах, то отчет давался в лошадиных силах.

В брежневские времена правила этой игры несколько «усовершенствовали». Начали с того, что провалившуюся с треском хрущевскую семилетку и три «пустых» года для удобства счета объявили двумя пятилетками. Из всех методов стимулирования «ударного» труда предпочтение отдавалось заклинаниям. Пробовали давать имя каждому году очередной пятилетки: «решающий», «определяющий», «завершающий», пробовали объявлять очередную «пятилеткой эффективности и качества». Все пробовали. Результат известен — поезд встал. Почему же нынешние народные депутаты так охотно проявили готовность продолжать эту незатейливую игру? Откуда у них уверенность, что XIII пятилетка станет исключением из общего ряда?

Давайте задумаемся, кому сейчас нужна новая пятилетка. Ясно, что больше всех в ней заинтересован аппарат центральных ведомств. Для него это гарантия собственной незаменимости, это возможность и дальше распоряжаться ресурсами, распределять и не позволять.

На мой взгляд, в области экономики депутатам сейчас следует думать отнюдь не о XIII пятилетке. Нужно хорошо продумать и принять чрезвычайный, но реальный двухлетний план выхода из кризиса. Только успешное выполнение такого плана создаст действительные предпосылки долгосрочного планирования не для корзины. Если же и этот план будет доблестно провален, Верховному Совету СССР надо будет назначить досрочные выборы народных депутатов СССР. Времени на более продолжительные эксперименты не осталось.

А. КЛИМЕНКО
Горький

■

Недавно был введен новый порядок обмена иностранной валюты для выезжающих за границу граждан. Введение «параллельного» курса рубля мы считаем положительным шагом. Однако мы были немало озадачены, когда выяснили, что теперь кооперативам придется «выкупать» у государства свои собственные валютные средства при командировании специалистов за границу.

Мало того, что государство по произвольно установленным нормативам принимает в бюджет большую часть зарабатываемой нами валюты, перечисляя нам эквивалент в рублях по официальному курсу (примерно 62 коп. за один доллар). Оказывается, теперь, если мы командируем за границу нашего сотрудника и поручаем Внешэкономбанку выдать ему 100 долларов за счет наших валютных средств на командировочные расходы, то при этом мы должны перечислить во Внешэкономбанк больше 600 рублей. То есть выкупить свои собственные средства. При этом во Внешэкономбанке ссылаются на Совмин.

Мы бы хотели спросить: как такой произвол согласуется с понятием правового государства и понимают ли ведомства, на что они толкают кооперативы? Как отразятся на интересах государства вынужденные «ответные ходы» кооперативов?

Когда же наши ведомства научатся предусматривать отдаленные и не очень отдаленные последствия своих действий?

В. ТОКАРЕВ,
председатель правления кооператива
Мытищи Московской обл.

■

В «Огоньке» № 41 за 1989 год опубликовано письмо Г. Павленко из Запорожья. В нем он пишет: «Тот же любимый ваш Рыбаков спасал шкуру и не нюхал фашистского пороха...» В связи с этим Совет ветеранов 4-го Краснознаменного Бранденбургского гвардейского стрелкового корпуса заявляет решительный протест.

Наш однополчанин гвардии инженер-майор Рыбаков Анатолий Наумович всю войну служил в рядах Советской Армии, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на разных фронтах.

Последние 10 месяцев войны А. Н. Рыбаков был начальником автомобильной службы нашего корпуса, в составе которого участвовал в Висло-Одерской операции, в форсировании реки Одер, в штурме Берлина.

За проявленное мужество и ратный труд тов. Рыбаков награжден боевыми орденами и медалями.

Заявление Г. Павленко рассматриваем как ложь и клевету на нашего фронтового товарища, которого мы уважаем за его мужество и верность фронтовому товариществу.

К. ДАНИЛИН,
председатель бюро Совета ветеранов 4-го гвардейского стрелкового корпуса, подполковник в отставке
Москва

■

Взяться за перо нас заставила передача «7 дней» от 12 ноября сего года, где нас назвали неимущими. Но мы не только неимущие, мы оказались за чертой бедности при нынешних ценах на продукты и промышленные товары. Разве можем мы, библиотекари, позволить себе такую роскошь, как купить сапоги за 140 рублей или пальто, цена которого более 300 рублей (не принимая во внимание кооперативные цены), если наша средняя зарплата составляет 80—100 рублей (потолок — 125 при высшем образовании и при стаже 15 лет)? Наш труд приравнивается к труду технички.

Выступая перед юными читателями, нам бывает стыдно за нашу одежду. Да, именно за одежду! Когда мы оказываемся одеты намного беднее, скромнее, почти нищенски по сравнению с некоторыми из наших читателей. Нам могут возразить, что на этом месте нас никто не держит. Правильно, не держит. Но всю свою сознательную жизнь мы считали себя нужными людьми нашему обществу, особенно подрастающему поколению, так как работаем в детских библиотеках.

Мы все учились в высших и средних учебных заведениях, чтобы нести в массы культуру общения, прививать любовь к чтению, к книге, но оказалось, что в наше время все это ни к чему. Почему? Потому, что материально-техническая база библиотек находится на уровне 20—30-х годов. Условия работы не соответствуют нашему времени, мизерная заработная плата, текучесть кадров.

Уже несколько лет мы ждем прибавки зарплаты, но на нашу прибавку влияют то землетрясение, то аварии, то стихийные бедствия. Мы не против помощи пострадавшим и сами оказываем ее по мере возможности, но почему-то все эти беды отражаются только на таких, как мы, неимущих. Все проблемы, проблемы, проблемы... А вот в повышении зарплаты партийным и советским работникам проблем нет. Откуда смогли найти круглую сумму для этой категории работников при нынешнем государственном бюджетном дефиците? Нам бы очень хотелось узнать, обсуждался ли этот вопрос в Верховном Совете СССР. В одной из передач «Молодежного канала» в интервью с депутатом был дан ответ, что эти меры, «пожарные», вызваны повышением цен на продукты и промышленные товары. Но разве цены повышаются не для всего народа?

Мы люди терпеливые и сознательные. Мы ждали положительных результатов от Съезда народных депутатов СССР, сессий Верховного Совета СССР, но результатов пока нет. В связи с этим обстановка в нашей среде накалена до предела. Продолжаться так дальше не может. До каких же пор мы будем находиться у государства в пасынках?!

ПОЛЯКОВА, АЙЗАТУЛЛИНА, УДАНОВА —
всего 10 подписей, работники Центральной детской библиотеки им. М. Горького
Саранск

■

В редакцию пришло письмо от группы ораторов на недавнем пленуме правления Союза писателей РСФСР. Подписавшие письмо Ю. Бондарев, С. Михалков, С. Викулов, Ст. Куняев, С. Воронин и другие не оспаривают подлинности цитат из их выступлений, опубликованных в «Огоньке», но обижены «неполнотой объема» и нарушением «неизменного порядка», произведенным автором записи, который якобы «приписывал выступающим, что хотел». Обижена и газета «Литературная Россия», представляющая интересы ораторов. Столкнувшись с довольно неоднозначной встревоженной реакцией общественности на упомянутый пленум, газета опубликовала чрезвычайно ужатый, испуганно отредактированный текст стенограммы и даже принятую на пленуме резолюцию постеснялась напечатать полностью.

Как и авторы письма, мы тоже советуем нашим читателям обратиться к номеру «Литературной России» от 1 декабря, сравнить публикацию стенограммы с огоньковской. И подумать, почему писатели, чья свободолюбивая душа всегда так активно восставала против вмешательства редакторского карандаша, на этот раз возмущены именно стремлением «Огонька» сохранить и точно передать их живую разговорную интонацию, полет мысли, яркую и образную речь. Впрочем, В. Крупин, например, не выразил недовольства, что мы вовсе не напечатали его выступление, а «ЛР» — с существенными упущениями. Между тем в его речи было много любопытного. Хотя бы такая сентенция, почему-то купированная в газете: «...Давайте сопоставим, сколько органов (печатных, разумеется.— Ред.) у Горбачева и сколько у нас. Ему можно и «Правду» под колеса бросить, у него «Пионерская» еще останется, а нам каково? (Аплодисменты.) Если мы будем уступать орган за органом, где мы будем говорить о своих бедах, печалях, национальных святынях, на которых держится любой народ, а тем более Россия?..» Точность цитаты гарантирована и хранящейся в редакции магнитофонной записью, и полной (действительно полной в отличие от литроссийской) стенограммой пленума, которую СП РСФСР, очевидно, считает пригодной лишь «для служебного пользования», а не для широкого читателя. Неточность у нас оказалась лишь одна: выступление В. Тимофеева ошибочно отнесено Ю. Бородкину, за что приносим извинения.

Что до «приписок от себя», то их «Огонек» себе не позволил; да и зачем: как говорится, умри — лучше не скажешь.

Отклики на пленум правления СП РСФСР продолжают поступать. Один из них — от московских писателей, под ним более 300 подписей, в том числе секретарей правления СП СССР, главных редакторов журналов, народных депутатов СССР:

ОБРАЩЕНИЕ
к писателям Москвы и России, к правлению СП СССР

Состоявшийся недавно VI пленум правления СП РСФСР всем ходом своих прений и решений наглядно продемонстрировал, как далеко можно зайти в шовинизме, безнравственности и литературном невежестве. Пленум поддержал и организационно оформил группу сепаратистов из Ленинградской писательской организации. В своем решении он настаивает на отстранении А. Ананьева от руководства журналом «Октябрь»*, а за кулисами пленума руководство СП РСФСР делает все, чтобы руками Госкомпечати устранить Е. Аверина из еженедельника «Книжное обозрение».

В ходе пленума получили дальнейшее развитие темные, порой откровенно антисемитские тенденции. Но мы убеждены, что далеко не все российские писатели поддерживают линию, избранную правлением СП РСФСР.

Мы, нижеподписавшиеся члены Союза писателей СССР, осуждаем ход и решения VI пленума СП РСФСР. Мы считаем приглаженным освещение этого пленума в «Литературной газете», «Советской России», в газете «Московский литератор» и требуем опубликования честной стенограммы VI пленума правления СП РСФСР.

Мы обращаемся к писателям Москвы, России, союзных и автономных республик с просьбой выразить свое отношение к VI пленуму правления СП РСФСР и его решениям.

Мы считаем необходимым, чтобы секретариат Союза писателей СССР безотлагательно дал свою оценку позициям руководства российского писательского Союза.

Мы считаем своим долгом предостеречь коллег, что, по нашему глубокому убеждению, позиция, занятая руководством российского Союза писателей, грозит расколом и чревата многими непредсказуемыми опасными последствиями.

Уважая интернациональные традиции русской литературы, мы считаем, что нынешнее руководство Союза писателей РСФСР не выражает мнение писателей России, а потому лишаем его права говорить от нашего имени.

И в довершение еще один документ:

«Обсудив сообщение председателя правления Ленинградской писательской организации В. К. Арро о пленуме правления Союза писателей РСФСР 13—14 ноября с. г., общее собрание ленинградских писателей категорически отвергает утверждение о ненормальной обстановке в Ленинградской писательской организации и выражает протест секретариату правления СП РСФСР, проводившему за спиной 400 ленинградских литераторов длительную и обдуманную раскольническую деятельность.

...Собрание не выступает против формирования новых структур в Союзе писателей, однако в данном случае решение пленума является опасным прецедентом раскола писательских рядов по надуманному национальному признаку и не способствует совершенствованию литературного процесса.

Общая дискуссия на пленуме СП РСФСР, как это видно по сообщениям печати, отличалась духом крайней нетерпимости, истеричности, оскорбительным тоном по отношению к Ленинградской писательской организации и ее руководству.

...Собрание категорически не согласно с предложением СП РСФСР о передаче группе «Содружество» возрождаемого журнала «Ленинград», тем более что это противоречит постановлению Секретариата ЦК КПСС от 24 октября 1989 г.».

Из решения общего собрания Ленинградской писательской организации от 29 ноября 1989 г.

С осуждением пленума СП РСФСР и силовых методов в отношении главных редакторов журналов и некоторых газетных изданий выступили коллективы журналов «Иностранная литература», «Дружба народов», «Знамя» и «Юность», ветераны Ленинградской писательской организации, Учредительная конференция творческого Союза музейных работников Ленинграда.

Сказанное сказано, акценты расставлены, истина вполне очевидна. Одно хотелось бы уточнить: что такое стенограмма, коей нам рекомендовали следовать «Литературная Россия» и СП РСФСР? Документальное отображение действительного события (как мы полагаем) или удобоваримая печатная версия «для истории»? Второй вариант явно предпочтительнее «российским писателям», знающим, что написанное пером не вырубить и топором, но забывшим другую мудрую пословицу — про слово, которое не воробей... И писательское негодование понятно: если в своей ведомственной газете они предстают такими, какими хотели бы казаться, то в «Огоньке» — какие есть на самом деле. Потому и вышла в свет «ЛР» с материалами пленума через неделю после нашего журнала: подтирали, подчищали, вылизывали... Чтоб «поумнее», «помягче», «поинтеллигентней»... А «Огонек» взял да и «оглупил», то есть напечатал как было.

В «Литроссии», как следует из вступительной заметки, регулярно блюдут свою «профессиональную чистоплотность». Не уточняется лишь, о какой профессии речь. А жаль...

Конечно, это удобно: на пленуме, среди своих, говорить то, что думаешь, а стенограмму любовно лелеять и подрумянивать на анатомическом, то бишь редакционном, столе. Как говорил на том же пленуме Станислав Куняев: «Дантесу простительно...»

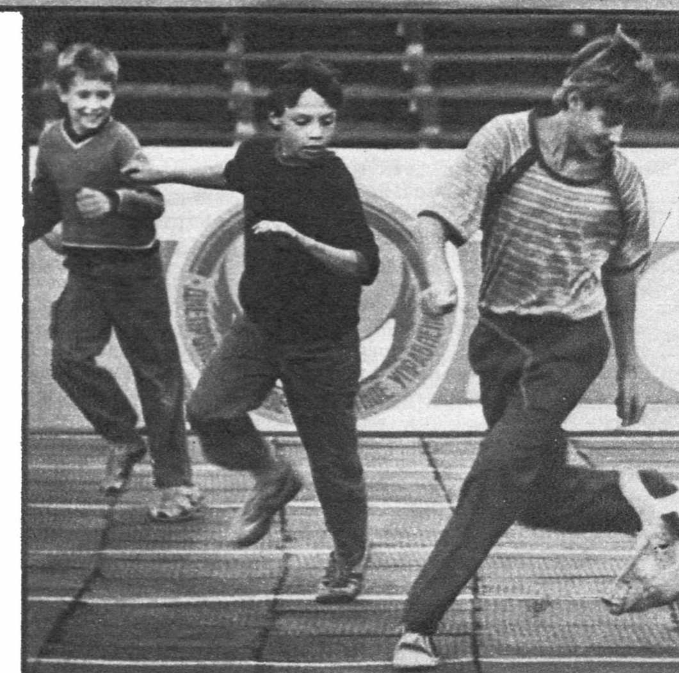
Отдел литературы и искусства



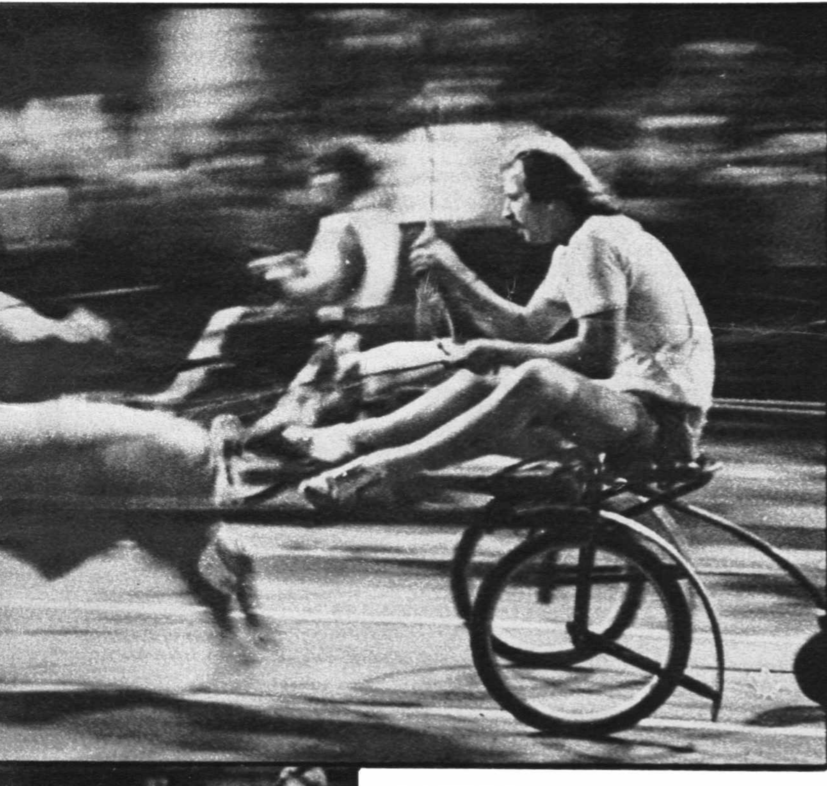
* В «Литературной России» № 48 опубликовано решение секретариата правления СП РСФСР об освобождении от занимаемой должности А. А. Ананьева и утверждении главным редактором «Октября» В. В. Личутина (читателям «Огонька» памятно предложение этого писателя подумать о резервациях для национальных меньшинств), а также о назначении на место ушедшего на пенсию главного редактора журнала «Москва» М. Н. Алексеева — В. Н. Крупина, чья позиция с предельной откровенностью заявлена на последнем российском писательском пленуме. В «Литературной газете» № 49 помещен к этому кадровому перемещению комментарий С. В. Михалкова, поясняющего, что это якобы «волеизъявление представителей литературных кругов Российской Федерации». Понятно, что вся «суета вокруг журналов» — попытка опередить Закон о печати, который должен положить конец политиканству ретивых администраторов.

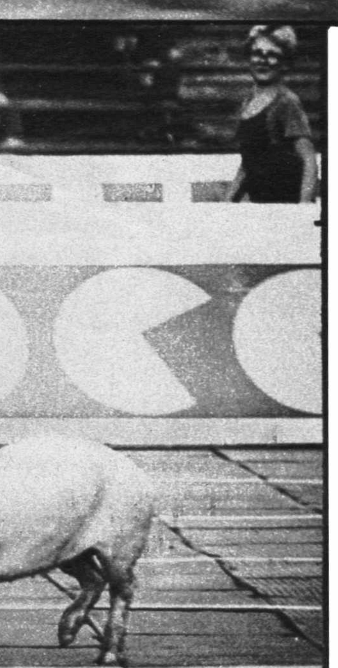






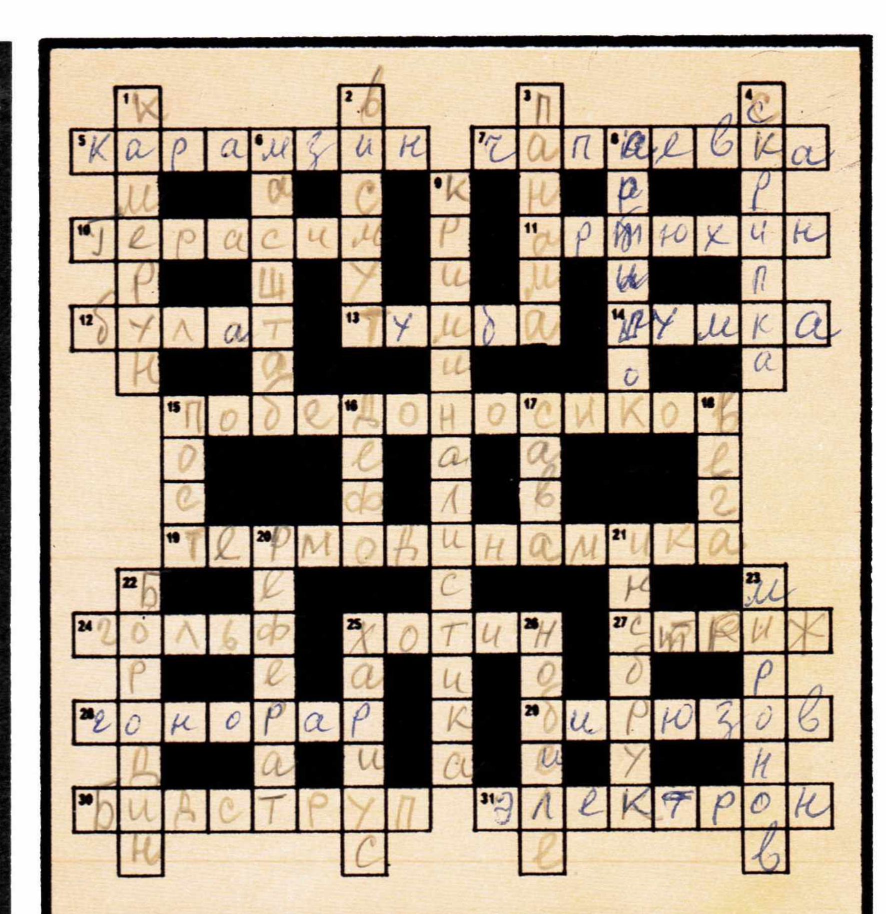






ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО...

Фото Олега ЛИТВИНОВА



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русский писатель, историк, автор «Истории государства Российского». 7. Приток Волги. 10. Персонаж повести И. С. Тургенева «Муму». 11. Летчик-космонавт СССР. 12. Старинная сталь высокой твердости и упругости. 13. Озеро в Заире. 14. Веселая танцевальная народная песня в Польше и на западе Украины. 15. Персонаж пьесы В. В. Маяковского «Баня». 19. Раздел физики. 24. Спортивная игра в мяч с клюшками. 25. Город в Черновицкой области. 27. Быстро летающая птица. 28. Денежное вознаграждение автору. 29. Маршал Советского Союза. 30. Датский художник-карикатурист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 31. Отрицательно заряженная элементарная частица.

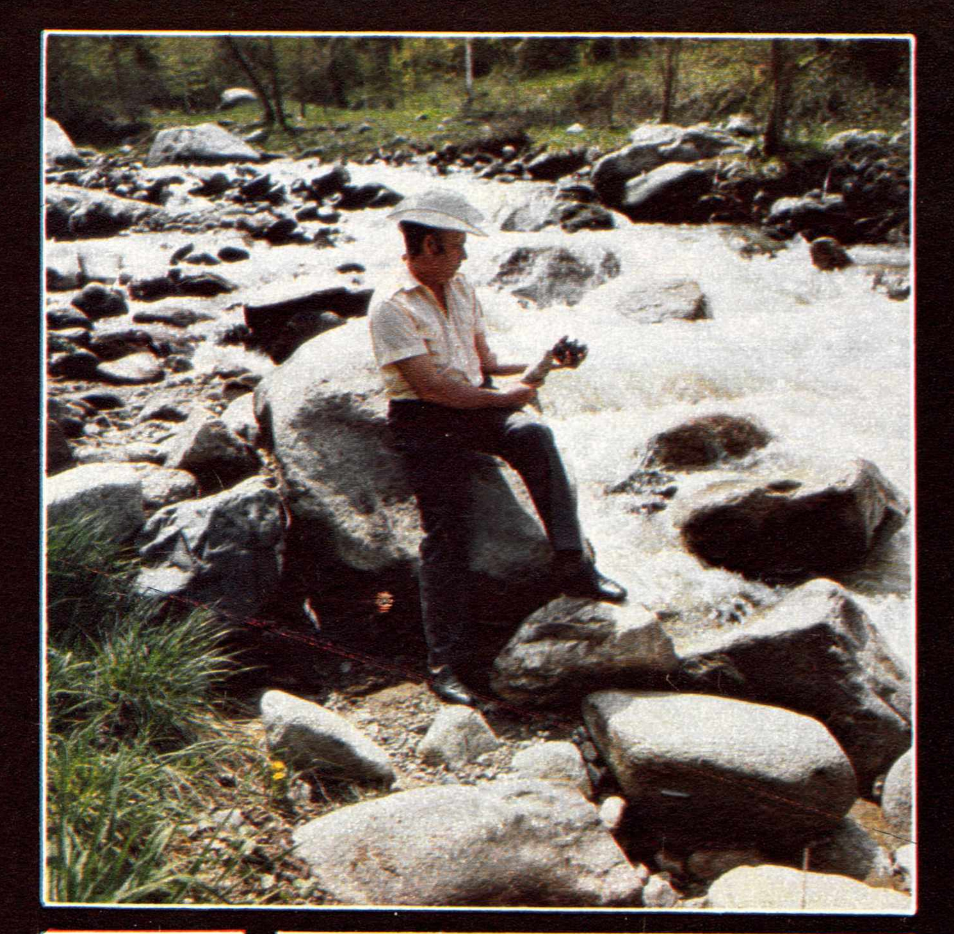
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в Центральной Африке. 2. Химический элемент, металл. 3. Летняя шляпа. 4. Струнный смычковый инструмент. 6. Отношение длины линии на карте к действительной длине в натуре. 8. Овощное растение. 9. Юридическая наука о методах расследования преступлений. 15. Объект, охраняемый часовым. 16. Английский писатель, автор романа «Робинзон Крузо». 17. Река в Югославии, приток Дуная. 18. Звезда в созвездии Лиры. 20. Краткое изложение содержания научного труда. 21. Город в Австрии. 22. Русский композитор и ученый-химик. 23. Командир 2-й Конной армии в годы гражданской войны. 25. Пресноводная лососевая рыба. 26. Итальянский дирижаблестроитель и полярный исследователь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Куросио. 8. Шеридан. 9. Смола. 10. Барк. 11. Дата. 12. Коломбина. 14. Орден. 16. Тимпан. 17. Одесса. 18. Парсек. 19. Нутрия. 21. Саяны. 22. Ризосфера. 25. Хоро. 27. Туше. 28. Брасс. 29. «Кочегар». 30. Кунашир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Турандот». 2. Лоск. 3. Пинд. 4. Мантисса. 6. «Осел». 7. Космодемьянская. 8. Шари. 12. Компостер. 13. Аргентина. 14. Оникс. 15. Ножны. 18. Платонов. 20. Ятрышник. 23. Зубр. 24. Ейск. 26. Орех. 27. Трап.

КАМЕННЫЕ СКАЗКИ БОРИСА ПОЛОСМАКОВА



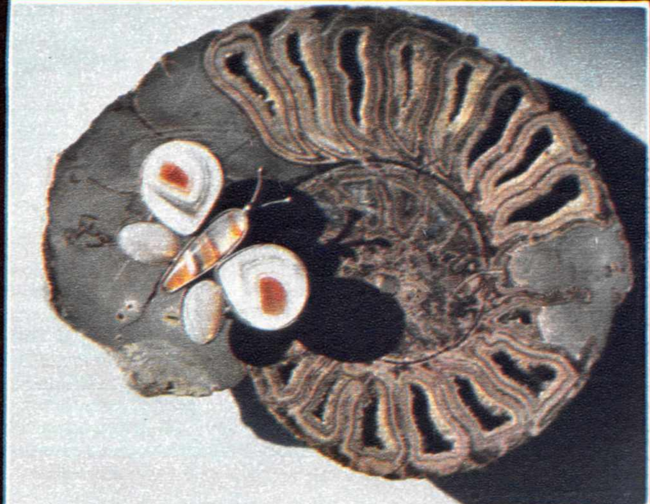
Самые обычные, невзрачные с виду камни в руках горного инженера Бориса Полосмакова способны чудесно преображаться, являя изумленному взору скрытую в них тайну красоты. В его коллекции примерно две тысячи образцов. Но особая любовь у Полосмакова к агатам, разновидностей которого в его коллекции великое множество. Этот камень пленил его своей непредсказуемостью, скрытой до поры тайной. Поражают цветовые гаммы, которые возникают в срезах агатов после их распиловки и шлифовки. В них можно увидеть сказочные картины: пейзажи, облака, реки и озера, плывущую рыбу или летящих уток, звездный небосклон или пожар заката... Именно агат вызвал в нем желание оправить в металл некоторые его образцы. Счастливый тот случай неожиданно для него самого открыл в нем незаурядный талант ювелира. Впрочем, надо ли об этом говорить? Надо смотреть. Смотрите. Скажу лишь, что ювелирные шедевры Бориса Полосмакова уже неоднократно экспонировались на различных выставках, в том числе и за пределами Казахстана.

Юрий ЛУШИН.

Алма-Ата

Фото автора.







40 коп.
Индекс 70663



